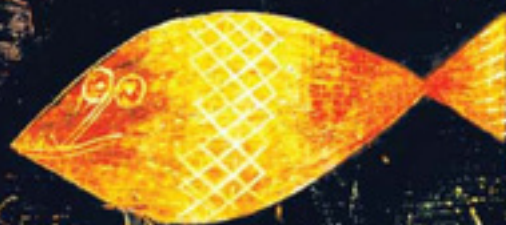
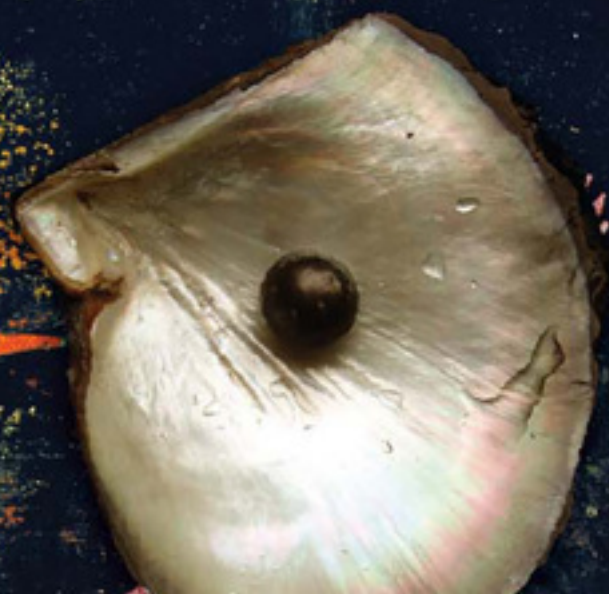


ЭМИЛИЯ
ТАЙСИНА

ЖЕМЧУЖНИЦА
И ПЕСЧИНКА



Эмилия Тайсина

Жемчужница и песчинка

«Алетейя»

2015

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Тайсина Э. А.

Жемчужница и песчинка / Э. А. Тайсина — «Алетейя», 2015

Книга казанского философа и поэта Эмилиии Тайсиной представляет собой автобиографическую повесть, предназначенную первоначально для ближайших родных и друзей и написанную в жанре дневниковых заметок и записок путешественника.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Тайсина Э. А., 2015
© Алетейя, 2015

Содержание

Жемчужница и песчинка	6
Часть I. Гемма	7
Пролог. Начала	8
Глава I. Продолжение	10
Глава II. Жемчужница и песчинка	15
Глава III. Несвоевременные желания	21
Глава IV. Нерожденные желания	26
Глава V. Мой маэстро	38
Глава VI. Сага об оппоненте	44
Глава VII. Эпоха каратэ	50
Глава VIII. У колыбели	57
Глава IX. Только истории	61
Конец ознакомительного фрагмента.	88

Эмилия Тайсина
Жемчужница и песчинка

© Э. А. Тайсина, 2015

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2015

Жемчужница и песчинка

«Говорят, одну книгу может написать каждый».
Сомерсет Моэм. Ровно дюжина.

*«Собственно, мы хорошо знаем – единственно себя...
Но если единственная „открывшаяся действительность“
есть „я“, то, очевидно, и рассказывай об „я“
(если сумеешь...)»*
В.Розанов. Опавшие листья. Короб первый.

«Homo sum, humani nihil...»

Часть I. Гемма

Я – непонятный, непонятый монстр.
Слав не пою, напоказ не молюсь.
Не испугаюсь трубы Йерихонской,
Но нестерпимой любви убоюсь.
Робкой, воинственной девочкой в латах
Я проезжаю апрельскую ночь.
Казус природы, я светлой Паллады
И умудрённого Ареса дочь.
Я святотатственно старые вина
В жадные лью молодые мехи.
Маленькой пандой, лисой неповинной
Вольно брожу, сочиняю стихи.
Страсти людские читаю привычно,
Судьбы людские, скучая, сужу.
Я – злоязыкий и добрый язычник,
Звёзды слежу, да на ложе лежу.
Всех понимать я имею сноровку,
Без различений приветствую всех.
Низким грехом я считаю издёвку,
Даром небес – иронический смех.
Все до единственной клятвы нарушив,
Слогом свободным сплетаю стихи
Без усиления, а дух – и душу —
Мне заменяют душ и духи.

Пролог. Начала

31.12.94

Начать я предполагаю с тоста, ибо через минуту пойдет последний час этого года.

Пусть ломается все, что не в силах атаковать и терпеть, а значит, жить. Пусть все, что вознамерилось уйти и угрожает мне этим, действительно уходит. И пусть сохранится все жизнеспособное и приносящее плоды. Мне надо втолковать прежде всех самой себе: яблоня, стоявшая, как ей казалось, в полном цвету (и так подряд двадцать пять лет или более!) давно уже уронила лепестки на землю. Она уже может, а следовательно, и обязана давать яблоки: «все отдай» – вот что должно стать разумным девизом зрелости. Тогда ей простится. И зачтется. Нет, разумеется, не зачтется, – бойтесь зачетов! – бойтесь признания заслуг! – бойтесь тех, кто сочтет себя обязанным вам, это кратчайший путь к искренней неприязни, ибо человек любит и ищет того, кому сделал добро, а не наоборот! Не зачтется; но наверное уж, простится.

«Душа покрывает себя позором, когда не в силах устоять против наслаждения или страдания». Марк Аврелий. Размышления. Книга вторая. (Это в – третьих; а во – первых, она покрывает себя позором, когда возмущается против устройства мира).

Хотелось бы мне иметь основания объявить себя стойком. Но нет. Нет. Слишком много у них о божественной мудрости и о смертной тени. Не будь этого, я бы, конечно, им подошла. Но не будь этого – не будет и стойков.

Зачем я пишу?

Чтобы не нужно было заново все рассказывать каждому новому встречному. Напишу все свои привычные притчи, замечания, все «экспромты», передам надоевшие «спонтанные» переживания по школе Станиславского и замолчу. Пусть себе читают. А я, может быть, отдохну.

Так или иначе, этих сказов не очень много. Например, боюсь забыть сказ про застоявшихся коней; про багровый закат, похожий на конец света, совершенно не вмешивающийся в обыденную жизнь; про обманутых девиц, воспитанных на Инсаровой и Карениной и превративших свои литературные жизни в *specific kind of hell on this earth...* И еще боюсь забыть просто словечки, какие-то удачные *mots*: «неистово верить = истово верить», «опускаю руки = поднимаю руки»... или вот еще: «I am a misfortune – teller». Или: «детективная логика Аристотеля». Еще: «я пользуюсь среди своих детей (и учеников) пререкаемым авторитетом». И совсем недавно, буквально ведь сегодня, что-то еще такое удачное пришло в голову... забыла... Может быть, «ты прав, как иногда»?

Какой сегодня темный новогодний праздник, весь в лужах с грязным песком. И мы одни. Правда, он купил елку, а это даже поневоле радость и не всегда удается; и кроме того, заходил в гости Наиль с ребенком. Какой именно Наиль – это уместный вопрос. Который Наиль Абузарыч. Чуть натянуто шутил; и Ленара ругал за исчезновение. (Слабое удовлетворение: а вот меня сегодня Ленар навещал – да, навещал, и с поздравлениями!)

Странно все. Передо мной на столе стоят и лежат такие противоречивые вещи: гусь – хрустальная ваза, флакон французских духов и маленький Дед Мороз немецкого вида, коробка губных помадок, том английских стихов, томик «Размышлений» и маникюрные ножницы. Еще много разных бумаг. Ренат не смог бы больше снять семейный фильм: непродуманный интервьюер. (Да он и нездоров. И я нездоров. Как это было у Тимура: «Моя голова! Ты слышишь меня?!») Нестройный и неразумный лепет этих вещей ничего значительного не говорит ни обо мне, ни о времени. И глубоко стоит в душе привычная печаль. Лишь изредка ее колеблют порывы решимости.

Половина двенадцатого. Вдруг он решил уже сейчас открыть шампанское. Сперва я противоречила; а зачем? В самом деле, пойдём и выпьем. Не надо пренебрегать всякой символикой; она может оказаться спасительной. Она остаётся, когда уже ничего нет.

Зовёт.

Иду.

Через двадцать пять минут – Новый год.

Finita la Tragicomedia.
До канделябров сожжены
Две свечи над камином.
Мгла ноября, мрак декабря
Спектакль ведут к концу.
Невозвратно разданы
Две жизни половины:
Одна – на жертву гордецу,
Другая – простецу.

Подайте счёт. Мне дела нет,
Что будет в действе третьем.
Подайте плащ. Неважно, чем
Окончится банкет.
Ещё каких-то лет пять – семь —
И занавес столетью.
Ещё каких-то пять – семь лет —
Двух тысяч лет как нет.

Вы, два клинка, вы, два певца,
Два деревца кораллов,
В ком так счастливо сплетены
Дон Жан и Дон Квикхот, —
Вы замените две свечи,
Оплывших до шандалов.
Два факела в моих руках
Да озарят исход.

Глава I. Продолжение

Первого января мы любопытствовали взглянуть, как выглядит собрание адептов Сан Мен Муна. Строго говоря, нас пригласил сам господин Кенджиро Аоки. Его маленькая хорошенькая дочь подарила мне эту ручку, роллер с микрошариком, пишущий черным. Я поняла, что это перст. Надо садиться за стол и стараться построить свою лирико – философическую повесть. Я боюсь, что мне не хватит стиля и слога, знания жизни и людей, чувства меры. Часто бывало, что я говорила серьезно и искренне, – но получался смешной выпендренный пафос или, еще хуже, мелодрама. Еще чаще бывало, что я выбирала легкую, шутивную речь, – и потом, когда, насмеявшись до упаду, публика моя покидала зал, я, как в стылую осеннюю воду, погружалась в смертельное одиночество. Не очень давно, говоря с Ди – Си, я поняла, что один из выходов – ирония, она позволяет рассуждать о самых серьезных вещах без патетики. Однако ведь я еще и веселый человек, – да, вот просто веселый, не желающий просурьезничать всю жизнь. А ирония не весела.

Мама той маленькой японочки сказала обо мне вчера: *heavy soul*. Это обидно. И несправедливо, по – моему.

Ну, так. *Ich fange an noch einmal*.

Я была то, что называется «девочка из хорошей семьи»: книги, особенно поэзия, исторические романы и дневники путешественников, скрипка, вокал, языки, правила английского этикета. Мне кажется, что на сегодняшний день я единственная знаю, что розовое можно украшать перламутром, что после шести вечера нельзя носить коричневое, а цвет дорожного костюма – серый. Особое место в моем воспитании занимал театр: драма и балет. Я никогда почему-то не любила оперу и кукол; однако мне очень нравится «Иоланта» и еж в тумане. В пятнадцать лет я неплохо музицировала, писала недурные стишки, пела, причем диапазон моих знаний был довольно широк: от народных песен до оперных арий. Исключение составляли советские шлягеры: их я не знала и не пела никогда. Вплоть до первого замужества я также совершенно не знала электронной музыки, разве что слышала плохие записи Beatles. Их исполнение, еще не электронное, а живое, необычайной гармонии, надолго определило мои пристрастия.

Главным же образом в пятнадцать лет я мечтала быть драматической актрисой. И сегодня я в полной мере уверена, что могла бы стать звездой провинциального театра (а также играть первую скрипку в средней руки оркестре, выпустить две – три тоненькие книжечки чувствительных стихов в издательстве «Юность», петь романсы в каком-нибудь ресторане или танцевать на заднем плане в группе сопровождения в кабаре).

Иностранные языки, как и научная фантастика, и исторические романы, всю жизнь привлекали меня. В них чувствовался ветер странствий, стены башен, пальмы и розы, заснеженные холмы, волынка, олени, другое небо и сладкий, невесомый воздух. Я поздно увидела море, – в шестнадцать лет, но с тех пор и оно стало невероятно много значить для моих dreams, олицетворяя мое Несбывшееся, параллельный мир, тоску о запрещенном рае, где тепло и жизнь легка.

Первой серьезной книгой, оказавшей на меня в детстве решающее влияние, была «Легенды и мифы Древней Греции» Куна. В каком возрасте она попала мне в руки, я не знаю: родительская библиотека никогда не была закрыта для меня. Помню только (мне было пять или шесть), как любимая эта книга вдруг исчезла; видно, мама забеспокоилась, что слишком подолгу, полностью выключившись из окружающей жизни, я в оцепенении смотрю на мраморные обнаженные тела богов и героев. У мамы периодически проявляются похвальные пуританские взгляды и требования. Словом, книга исчезла из виду. Я долго ее искала, потом, догадавшись, потребовала объяснений; и вы не поверите, но без возражений «Легенды и мифы»

мне вернули. Понятно, что их все я знаю наизусть, и с самого раннего времени до сегодняшнего дня никогда ни одна религия не казалась мне привлекательной, почти ничего не говоря сердцу, – кроме язычества.

Вторая книга, воспитавшая меня, – это «Жизнь и ловля пресноводных рыб» Сабанеева (однако об этой краске детства скажу позже), третья – «Гамлет». Само собой, что в промежутках были и Барто, и Чуковский, и Вера Инбер, и весь добропорядочный набор детских книг; и были рассказы о войне. Много, очень много рассказов и повестей, фильмов и песен, воспоминаний и прямых напоминаний о войне (вроде вереницы инвалидов на улицах). И вечно занятые родители. И ненавистный детский сад. Так прошло первых несколько лет.

Мои представления о жизни всегда были далеки от реалистических. Они были, правда, широкими и разносторонними: абстрактно – научными, эмоционально – театральными, атамански – волевыми, платонически – литературными, эротически – эстетскими, приключенчески – мечтательными, самоубийственно – раскаянными, истероидно – повстанческими... понимаю, понимаю, давно уже нарушено логическое правило деления: единый признак в основе классификации... так или иначе, эти мои представления о жизни и людях всегда были приподняты над действительностью, а иногда и очень высоки, и никогда – *никогда* они не были грязно-торгашескими, прагматическими, полезными в смысле сиюминутной употребимости в дело превращения всех мировых элементов в пищу. А это прочно отделяет меня от человеческого рода. Зато я разыгрываю много ролей, и притом с удовольствием и вполне естественно: таких ролей, которые меня и мирят, и объединяют с этим самым родом, и даже приносят и будут приносить шумный аплодисман. Любимые из них: Маленькая Разбойница, Первая Ученица, Девочка – со – скрипкой, Девочка – с – книжкой (на диване, ноги по – турецки, в руке кусок хлеба или сыра, уткнулась и ничего не слышит); еще Путешественник (героический смысл), Странник (философский смысл), Вечный жид... о, виноват, это не про меня. В детском саду – Наша надежда, в английской школе – подвергнутый почти тотальному остракизму мальчишка с ломким низким голосом, вечно в спортивных штанах и почему-то с косичками. (Как они мне осточертели к сорока годам!) В институте – Интеллектуал. В аспирантуре – философски подозрительный Объективист и Критик, а параллельно – кажется, Гимназистка и Маленькая Мама. К настоящему времени отрепетированы и вросли в тело Проповедник (и Исповедник), Человек Долга и Магушка Кураж. И ее дети. И еще Классный Лектор.

Мама, впрочем, как звала, так и зовет меня Строптивицей и Поперечно – полосатым Неслухом. (Но эта моя черта давно в прошлом). А в архивах КГБ сохранились еще два такие определения: Татарский Буржуазный Националист и Связь с Иностранцами. О, донна Анна, молва, должно быть, не совсем неправа, на совести усталой много зла, быть может, тяготеет... Самой-то мне хотелось бы следующих двух определений: Философ – стоик и Поэт – лирик. Да разве наша почтеннейшая, она же презреннейшая публика догадается! А ведь она и присваивает определения.

* * *

Другая сторона медали, наградившей мое неосознанно доблестное детство, выглядит так.

Старый наш монастырский дворик и вырождавшийся так называемый «сад» за толстым монастырским зданием, где деревья росли только по периметру, а в середине убитой и затоптанной площадки всегда играли в волейбол папины студенты, – а также наша улица, круто сбегавшая к подножью кремлевского холма, окрестные переулки, заборы, табачная фабрика по соседству и берег Казанки – знали немало наших походов. Дело в том, что до полных тринадцати лет я была атаманом небольшой ватаги мальчишек всех возрастов и к обязанностям своим относилась весьма ревностно. У нас во дворе больше не было девочек, если не считать какой-то золотушной Галии из нижнего этажа, от которой я, кажется, не слышала за жизнь ни

одного слова, и моей сестры, почти семью годами младше меня, которой в боевой мужской обстановке делать было решительно нечего: она была болезненная, тихая, миловидная и нежная. Мама ежедневно втолковывала мне, что сестре нужен щадящий режим. Дома я еще играла с ней, но во дворе потребен был иной темперамент и стиль.

Насколько я помню, у меня рано проявилась склонность к играм – спектаклям (мы часто разыгрывали, по моей постановке, фантастические повести, например, «Гриадю» А. Колпакова; жанр тогда только-только складывался), к быстрому бегу, долгому плаванию и драке. Собственно, мы были в состоянии перманентной войны с «табачниками», т. е. с соседним двором. Хорошо зная, чем кончаются мои уличные игры, мама дальновидно надевала мне на платице фартучек и по вечерам, сердясь, отстирывала с него немыслимую грязь и кровавые пятна, потому что платиц у меня было, кажется, всего два: какое-то синее и клетчато – оранжевое. Однажды мама рассердилась и испугалась по – настоящему, когда я явилась с надорванным левым ухом (шрам могу предъявить и сегодня), а наутро должен был состояться экзамен «по специальности», т. е. наиважнейший, в музыкальной школе. Мамина тетья – медик с запоздалой тревогой заподозрила столбняк; но делать глядя на ночь все равно было нечего; меня перебинтовали, а назавтра на экзамене я в первый и единственный раз в жизни получила «три». (За мной была еще такая слава, что на сцене я «собираюсь» и «не подвожу»). Полуживую маму успокаивала милейшая Наталия Адольфовна: «Ну что Вы, не расстраивайтесь так, это лишь горестная случайность; и как могло быть иначе? Что она может услышать одним ухом?!» А я просто плохо сыграла.

Мама вообще самым болезненным образом относилась к моим оценкам: само собой подразумевалось, что я должна быть лучше всех. Не будь этого обстоятельства, мое детство можно было бы назвать счастливым. Папа же никогда в такой мере не разжигал во мне честолюбие, хотя всю жизнь пребывал в безмятежной уверенности, что его дочь обязательно поступит как правильно, будет молодец и всех победит.

Папа – человек невероятно деликатной и тонкой души, любящий красоту во всех ее проявлениях, с содроганием отвращения относящийся ко всему вульгарному и грубому; он также методичен, обладает пристрастием к миниатюре, физически очень вынослив и терпелив, – и храбр в наивысшей степени. Интуитивно все это ощущая, в детстве я, говорят, аттестовала его так: «Папа, ты – охотник».

Мама: в маме много от хирурга. Она мастер меткого, короткого, чаще всего смешного рассказа (я бы сказала, чеховского, если бы мама любила Чехова). Мама почти мгновенно ухватывает явление прямо за сущность и победоносно держит; она пишет сразу набело, понимает шесть – семь языков, на английском говорит как на родном, тон имеет властно – доброжелательный, красиво поет, широчайше эрудирована, не любит попадать в смешное положение, но спартански – безжалостно может высмеивать себя сама. Много лет она находилась на командирской, полковничьей должности в крупном военном вузе, но это для нее совсем не предел: она могла бы свободно быть ректором, выдающимся дипломатом, главой небольшого государства. Или большого.

Мамину карьеру сгубили мы, дети. Мы болели, умирали, голосили, требовали внимания, а вы понимаете, что было такое раздобыть кружку молока через пять – шесть лет после войны? У меня был рахит, у сестры – порок сердца; она к тому же родилась почти без кожи, ее, я помню, держали чуть не в ваннах с синтомициновой эмульсией. . . А две другие сестры умерли в младенчестве. И как еще они умирали. . . Словом, в мире нет ни одного места, которое меньше подходило бы моей маме, чем детская, кроме кухни. Но, как мисс Офелия, вооружившись чувством долга, мама пошла вперед по выбранной стезе, включавшей роли хозяйки, жены, прислуги, медсестры, домашнего учителя, кухарки и горничной, эт сэтэра. Из всей нашей семьи мама больше всех способна на самопожертвование, и она его совершила. И совершает, ибо существуют не только дети, но и внуки, и зятья, – и все мы эту жертву без зазрения (а хоть бы

и с зазрением, что это меняет!) – приняли и принимаем ежедневно. Mea culpa. Mea maxima culpa, мама!

Ибо мое первое замужество и было тем потрясением основ нашего бытия, которое положило начало цепи трагедий в семье. До него у нас с мамой было много прекрасных, радостных дней, полных смеха и смысла. Были два или три сезона, когда мы с ней знали буквально все театральные постановки в городе. Были переводы с древних языков: представьте, что я в восьмом классе сделала поэтический перевод гимна Кэдмона – как вам? А как вам то, что в свое время мама, будучи едва старше, сделала перевод Евангелия от Матфея с *готского языка*? (В детях гениев природа отдыхает, возможно, мудро припомните вы. А тогда как вам то, что мой младший сын безо всякой помпы переводит сейчас Lord of the Rings?)

Гимн Кэдмона – вот:

(Оксфордская рук. – ок.680 г.)

Nu sculon hergiean heofon – rices weard,
meotodes meahte ond his mod – gedanc,
weork wuldor – faeder, swa he wundra gehweas,
ece drihten, or onstealde.
He earest sceop, eordan bearnum
heofon to hrofe, haelig scyppend;
Tha middan – geard monn – synnes weard,
ece drihten, aefter teode
frum foldan, frea aelmihtig.

(Надчеркивания только мне не удалось).

«Теперь восхвалим хранителя небесного царства.
Творца мощь и мысль его ума.
Деяния славного отца, ибо он чудеса свершил,
Вечный Господь, начала установивший.
Он прежде создал детям земли
Неба кров, святой творец,
Потом землю, хранитель человеческого рода,
Вечный Господь, после создал
Огонь земли, господин всемогущий».

А как было здорово валяться с мамой на диване задрамши хвост и зубоскалить обо всем на свете! Или пить пиво и петь песни. Иногда я, забывшись, думаю, что пристрастие к вину, жаркому, сладким фруктам и песням у меня от жениха – грузина. Нет, он только приучил меня к дорогим ресторанам и крупным подаркам. A first bottle of fine wine подарила мне именно мама, ко дню рождения, на тринадцать лет.

Словом, театр и скрипка, стихи и песни, европейские вкусы, мировая литература, артистизм и честолюбие, вино и женщины – тьфу ты, не женщины, а... ну, скажем, картины, ну, скажем, импрессионистов и раннего Пикассо – это у меня от мамы.

От папы же у меня – о, от папы!

Упорство, великодушие, философские взгляды, покровительство слабым, искренность и открытость, невыразимая любовь к природе, лыжи и рыбная ловля, юный натурализм... или как это сказать правильно, чтоб уж без ваших двусмысленностей?

После войны папа, желая продолжить образование, кажется, останавливался на истории; или математике? но так не вышло. А сегодня он великий Географ, Естествоиспытатель и Нату-

ралист. Да, он великий ученый, какие были в XVIII–XIX веках, когда к науке не относились как к спорту, абсолютно бескорыстный, неотвратимо увлеченный испытанием природы, он знает столько, что вам и не снилось, и при этом запредельно чужд всякого цехового снобизма. В этом году ему 75 лет. И в душе, и по виду ему на 25 лет меньше. Он – глава нашего семейства и мой кумир, а происходит он из княжеского рода. (Мама тоже в пятом поколении дворянка... Но это я так). Жаль, что я не восприняла от папы еще и стойкость, и единство цели. (А от мамы – благородство леди).

Еще у папы после войны был трофейный мотоцикл «Харли – Дэвидсон». Мне страшно нравилось сидеть за рулем, только это бывало совсем редко.

А самое главное-то, что папа всегда брал меня в свои путешествия: обычно это бывали так называемые комплексные студенческие практики. Мы ездили в дельту Волги, в прикаспийские пустыни, в Кунгурскую ледяную пещеру, вообще на Урал очень часто; и по Татарии, конечно, особенно в Раифский заповедник. Мама возила меня в столицы: Москву и Ленинград, по музеям, театрам, картинным галереям и дворцам. Папа – по стране, по горам и лесам, рекам и озерам, степям и болотам.

Urbis et Orbis.

Городу и Миру, говорили римляне.

Оба моих родителя, кажется, уверены, что я их подарок Городу и Миру.

Мама провела меня по городу.

С папой я прошла по миру.

А с первым мужем я прошла и *по* миру.

Вообще говоря, о нем я вовсе ничего не хочу писать, кроме самых общих оценок: сильный, красивый, умный, упрямый, одаренный... Главное же – это отец человека, ставшего для моей жизни стальным стержнем, силовым полем, источником веселья, ближайшим другом, адвокатом и судьей: короче, отец моего Булата. (Раньше в этом месте я говорила: Тимура).

Глава II. Жемчужница и песчинка

Хотелось начать с притчи, может быть, даже самой ее придумать. Но в ушах громыхнул голос одного из литературных героев Ю. Трифонова: «У Вас мания величия, милейший! Притчи пишут народы!» Поэтому я и начну, и закончу былью.

Под мускул раковины – жемчужницы, как и любого моллюска, под ее прочную панцирную крышку, то ли подмышку, то ли в горло, то ли в другое, еще более чувствительное и тайное место, может попадать мелкий мусор песчинка. Любой другой моллюск спасается, видимо, как поперхнувшийся или занозившийся человек, как рачительная хозяйка: он стремится с негодованием освободить свои члены, или что у них есть там, от чужеродного колючего и вредного тела, стряхнув, выполоскав, выбросив его вон. Только одна жемчужница поступает иначе: она начинает обволакивать поразивший ее осколок тонкими слоями перламутра. Через некоторое время ныряльщица – ама, которая, как пишут, может в поисках жемчужниц хоть три минуты, не дыша, плавать под водой, поднимает на поверхность к людям драгоценную природную шкатулочку с сокровищем.

Я украшаю жизнь и ее события, и мысленно, то есть наедине с собой, и тем более в пересказах. Точно так же поступают и моя мама, и сестра. Однако собственная жизнь мне кажется драматичнее, чем их. Я гораздо больше выигрывала и ошибалась, совершая непредсказуемые поступки, нарушая в общем благоприятные, равновесные обстоятельства по собственной воле. Их судьбы объективно тяжелее: война, наследственные болезни, самопожертвенное служение семьям и детям; моя превращена в захватывающую драму мною самой. А потому я в большей мере жемчужница, чем сестра и мама.

Приукрашивание реальных событий сродни разным ремеслам: ковке, чеканке, золочению, росписи. Точим, да режем, да полер наводим. Веди дело к радости, маленькая колдунья. Горя и без того много в любой судьбе.

Вот, скажем, имеется такой реальный факт. Полутемная, полузаполненная университетская аудитория; мне надо прочесть лекцию по логике и убежать домой, уже вечер. Внезапно обнаруживается присутствие посторонней женщины: она не закончила простенький эксперимент на моих студентах и просит захватить часть лекции. Я соглашаюсь.

Роспись же на этот сюжет выглядит так.

Представьте себе амфитеатром уходящие в полутьму длинные деревянные скамьи и столы, кое-где прихотливо украшенные пестрыми группами студентов. Как всегда торопливо, почти бегом я влетаю в аудиторию и, не опираясь на кафедру, быстро начинаю: «Здравствуйте все. Давайте продолжим наши похвальные занятия философской наукой логикой». Вдруг я замечаю справа просящий взгляд: небольшого роста, даже ниже меня, средних лет симпатичная дама, жестом останавливая мою речь, без запинки называет меня по имени – отчеству (and it's next to impossible) и говорит: «Будьте добры, с этим курсом на прошлом занятии мы начали один опыт, но не успели закончить; Вы не против, если я потихоньку буду опрашивать одного за другим еще человек семь – и все?»

Разумеется, ответила я и продолжила лекцию. Слева с самого верха направо на самую нижнюю скамью направился по диагонали зала некий молодой человек: отвечать на вопросы дамы. Чисто рефлекторно я проследила его траекторию и... бог ты мой, я поперхнулась и чуть не забыла сюжет. Перед экспериментатором, на узком длинном столе, рядами, на тарелочках, лежали человеческие носы телесного цвета. Под ними, рядами же, сервированы были человеческие губы. Того же цвета, телесного: то есть не розовые, не красные, а жутко белесо – желтые. С края свешивались хвостиками цветные пряди волос. Она еще чем-то там шуршала, какими-то плакатиками с нарисованными разноцветными глазами... тихо спрашивала о чем-то у парня... я заставила себя сконцентрироваться на своем.

Довольно быстро я увлеклась и обо всем постороннем забыла. Ближе к концу я заметила, что дама осталась слушать. К ней больше никто не подходил, но пугающие муляжи не исчезли: видимо, в порядке извинения за помеху она застыла неподвижно, только чуть головой покачивала. В перерыве студенты разошлись, дама наговорила мне комплиментов по поводу науки логики и предложила тоже ответить на ее вопросы.

Суть дела в следующем. Юношам (почему-то только им) предъявляются в отдельности рисунки глаз и анатомические муляжи, и предлагается выбрать, на их взгляд, «красивые». Опыт проводит одна из лабораторий Института Этнографии и Антропологии РФ. Их рабочая гипотеза: если анкетный опрос (а он проводится одновременно во всех «нерусских» республиках бывшего Союза) покажет, что представители данной национальности не склонны «признавать» какие – либо черты внешности, кроме своих собственных, – дело плохо, тут ксенофобия и чуть не этнопсихологическая подоплека гражданских войн. Если же юноша – татарин, который, согласно московским о нас представлениям, является смуглым, низкорослым, кривоногим, узкоглазым и черноволосым, признает за эталон женщины высокую зеленоглазую или голубоглазую блондинку (что и возымело место в описываемом случае), – все в порядке, все обойдется. Войны не будет.

Разумеется, это смешно, но моя героиня не смеялась. Она в свою гипотезу верила.

Я стала отвечать. Мой идеал мужчины: среднего роста крепко сложенный брюнет с черными глазами и волосами, глаза без «пикантуса», нос небольшой. Так. Теперь беремся за женские черты (дама моя вроде бы не только логику восприняла как новость, но и одного из главных законов диалектики – целое **больше** суммы своих частей-тоже явно не знала). Знаете, не трудитесь с отдельными носами, говорю я. Идеал женщины, то есть той, что может представлять Землю на каком-нибудь Вселенском конгрессе, то есть женщины как таковой: среднего роста, светло – смуглая, длинные прямые черные волосы, изящная, подвижная, гибкая, глаза если не черные, то карие... вижу, дама моя, как и предполагалось, рассматривает меня со все возрастающей подозрительностью, а потом и со страхом... Арьи мне нравятся, арьи, разглагольствую я. И больше никто. Смотрю, дама украдкой выписывает уже в черновиках научный вывод о ксенофобичности татарских философес. Улыбаюсь, потом смеюсь откровенно... Нет, нет, говорю, нос должен поменьше быть, не смотрите на меня так! И глаза я вообще-то больше всего зеленые люблю...

Так делается у нас большая столичная наука. «Ползучий эмпиризм», сказали бы мы раньше, иди речь о западных социологах. А сегодня что скажешь? Очень полезные полевые исследования во времена, когда антитерроризм становится единственной общенациональной идеей...

Вот другой нагой и неприглядный факт. Лет десять тому назад бывший одноклассник моей сестры предложил ей вместе с кем-нибудь (то есть со мной) выступить понятиями: подписать показания о противозаконных мелких действиях официантки. Одноклассник работал в угро. Обрамление и комментарии этого факта можно подать так.

Прекрасная ранняя осень, убор ее зелено – желтый; дни теплые и солнечные, прохладные вечера еще не напоминают о грядущем. Мы с сестрой, нарядные, возбужденные, хихикая, ждем на остановке автобуса некое третье лицо. Вместе с этим лицом мы должны отправиться в модный рестораник, вести себя, в перспективе, разгульно, изображая двух «динамисток»; вот, собственно, и все. Только потом нужно будет увиденное в деталях воспроизвести письменно. Остальное – не наше дело. Те «наши», которых это дело, сами знают, когда и как поступить.

Третье лицо оказалось молодым обворожительным кавказцем тоже из «наших»; я сразу решила, что массивная золотая печатка – это кастет или в крайнем случае ампула с ядом, а за бортом бархатного оливкового костюма скрывается сами понимаете, что. Он разыгрывал подгулявшего грузина; денег у нас было мало, государственный билет позволял разве что начать; остальное веселье должно было разворачиваться за счет нашего с сестрой артистизма.

Мы с азартом принялись втроем прожигать жизнь. Надо сказать, наш кавалер был настолько мил и обаятелен, что знакомство, расспросы, шутки и смех были абсолютно естественны. Бутылка вина пустела, подали жаркое, за большим окном сгущались влажные зябкие сумерки, а издали, из пышных зеленых кустов, за ресторанной дверью следили еще трое «наших», ожидая условного сигнала на вход, понемногу замерзая, голодая и ожесточаясь.

Кончилось все довольно быстро. Неосторожная официантка обсчитала нас на несколько рублей и еще продала коньяк «на вынос». Дамоклов меч, вознесенный восемью руками надо всем заведением, не должен был так – таки сразу и отсесть эту одну повинную голову: оказывается, так в угро копится компромат на будущее; это дальновидно, по – моему. Но в те минуты, когда упомянутая голова, плача и лепеча, заглядывала в лица нам, все еще сидящим за тяжелым разоренным столом, как-то снизу, – ох, до чего мы с сестрой почувствовали себя неважно! До чего, прямо сказать, гнусно. Напрасно наш в момент преобразившийся кавалер негромко сказал нам: «Это воры, девочки. Кого вы жалеете?» Мы все же жалели и официантку, и симпатичного бармена, а сильнее всего сожалели о том, что вообще взялись за роль Мат Хари, особо не ведая, что творим. Гадливое чувство постепенно оставило нас на мягких сидениях теплой машины, где бормотала рация и смеялись, сыпля комплиментами, четверо «наших».

Трое из них, насколько я могу судить, живы – здоровы по сей день. А вот тот, с кем мы проводили памятный ужин – не знаю. Он занимался потом наркотиками несколько лет; но дело даже не в этом. По национальности он чеченец, и однажды, в более позднюю встречу, он сказал мне: «Где умру, я не знаю, но похоронят меня на родине». Или даже: «в родной земле».

Еще одна песчинка – и, может быть, хватит с примерами? Впрочем, что выйдет, то выйдет.

Исходный эпизод таков: продавец яблок ни за что, ни про что купил для меня на свои деньги ведро гладиолусов. Это было уже не десять, а двадцать с лишним лет назад.

Моя сестра, тогда еще совсем малышка, лежала в кожной клинике. Она всегда была такая хорошенькая, воздушная, кудрявая, с непередаваемо милым личиком... Ей, конечно, было плохо в той больнице. Я каждый день ездила на большой базар за красными яблоками. Скоро ко мне присмотрелся весь ряд торговцев; они оказались между собою родственниками. Мне стали сбавлять цену или прибавлять в товаре. Особенно один парень был щедр. Он вообще, как потом оказалось, отличался великодушием: вручную грузил ящики с яблоками почти для всех своих, а это по шесть тонн на одного торговца, примерно. На этом он и потерял здоровье: я еще коснусь печальных вещей. Романтический же его шаг с цветами был, каюсь, спровоцирован мною.

Дело в том, что в один из дней раннего июня должна была состояться свадьба моей младшей кузины Ольги. Она выходила за новоиспеченного офицера, и тут же молодожены должны были отправиться за границу. Свадьба готовилась почему-то спешно; уже тогда зная мою полную и преступную бесхозяйственность и лень, мне не стали поручать никакого реального дела, только дали несколько десятков на цветы. Тогда это была большая сумма денег для меня. Я ревностно выбирала, остановилась на огромных, дышащих непередаваемой роскошью белых пионах. Ведро с ними я с трудом и с радостью привезла на ночь домой и поставила на балконный пол, каковой наутро был покрыт неправдоподобно прекрасным ковром из их лепестков. Белая красота его и сладкий предсмертный аромат превратили меня на полчаса в извятие, сохранившее, однако, способность к созерцанию. Было семь утра. Через два часа цветы должны были украшать свадебный зал.

Отмерев, я ринулась на базар, почему – до сих пор не знаю. Денег у меня не было. А у Отари были. Действовала я едва ли сознательно: неужели можно до такой степени не быть леди? Теряя дыхание, я кратко все объяснила... Благодетель мой рассмеялся, повел меня в цветочный ряд, купил белые гладиолусы вместе с ведром – а они только-только появились! – и сказал, что в жару не стоит за день до срока покупать пионы. Потом проводил меня до такси,

заплатил шоферу и произнес с невероятным достоинством: «Передай мои лучшие пожелания и поздравления Ольге (он пять минут назад узнал о ней!) и скажи, что я никак не смогу сам присутствовать в гостях в день ее торжества. Пусть простит меня и примет в дар эти цветы».

Каким врожденным благородством дышали эти простые слова, я передать не сумею.

Дня через два – три я опять поехала в яблочный ряд, уже по-товарищески, желая поболтать, отблагодарить как-нибудь цветисто – я бы смогла, просто в *ту*, нужную минуту ничего не получилось, не достигала я высоты его доброй души. Но на этот раз место Отари пустовало, а его двоюродный брат, заплакав, сказал мне, что тот грузил яблоки для какого-то троюродного шурина или как его там, остутился, упал с пандуса, уронил на себя ящик и сломал позвоночник. Лежит в шестой больнице.

Ему было двадцать три. Больше ничего не знаю.

Перебирая песчинки, на которые наносится перламутр, чтобы потом низалось ожерелье моих рассказов, я предусмотрительно избегаю упоминать об осколках шрапнели и выбираю что помельче. Разве расскажешь хоть в самой искренней биографии об истинных обстоятельствах, при которых я рассталась с первым женихом и первым мужем, познакомилась с Серым Кардиналом или с Харри Шолихом, как оплакивала самоубийц, ночевала в Домодедово, играла в гардеробные номерки вместо карт в смоленской гостинице, смотрела в глаза насильников, встречала 82-й год, плыла в лодке на день рождения к сынишке? Вообще я часто искала себе беды. Многих участников тех драм и трагикомедий по именам я не знаю, других и называть нельзя.

Но об одной острой занозе я все же расскажу: она не затрагивает ничьи репутации, это обыкновенный несчастный случай; и вот изволите видеть, какую овальную жемчужину я из этого шипа изготовила.

Сам случай такой: я погналась за автобусом, упала и повредила ногу. Весной будет тому три года. (Травма, на самом деле, осталась навсегда).

Ювелирно обработанный, он предстает историей.

Привыкнув считать в отношении себя такую категорию, как возраст, пустой абстракцией, двигаясь легко и быстро, «напевая и смеясь» (ну или пробирая кого-нибудь за грехи, сверкая глазами, или же плача, или вихрем разгребая массу дел), я вдруг была поймана за шиколотку посреди своего полета, измытарена, обезображена, посажена на цепь и приговорена к пыткам и заключению. Гипсовая костяная нога и самый вид костылей обратили в прах мои иллюзии красоты и молодости. Уродство доканывало меня в семьсот раз сильнее, чем боль. Почему-то особенно нестерпимой обидой предстал сам повод погони за автобусом: мне непременно надо было получить зарплату.

Я ее и получила: добравшись, стоя, в подлой сорок девятке, каковую догоняла, а затем прождав в благожелательной, но твердой очереди коллег положенный академический час, стоя же, на маленькой крутой лестнице к кассе, – с полным разрывом связок. Правда, иногда у меня в сознании вдруг как бы задергивались шторы от сильной боли, но мой дух устоял, как всегда. Потом, уже со скоростью виноградной улитки, я добралась от главного здания до своего, и в двадцати метрах от входа меня заприметило трое любимых студентов – Трэш, Алеша Карманов и Коля – цесаревич. Водрузив на стул, они на руках, с помпой, понесли меня, полулежащую (слава богу, было мало народу в свидетелях) на второй этаж и на кафедру. Я повела семинар. Их должно было состояться всего два, потом можно как-то домой.

В перерыве на кафедру зашел наш иностранный аспирант Самир Аль – Ганнай: он должен был той весной сдавать кандидатский по философии, и мы с ним понемногу репетировали. Самир сыграл роль Спасителя: презрев насмехавшуюся вокруг меня толпу всяких там Тишко и Кармановых, с первого взгляда на мою распухшую и вылившуюся из туфли лодыжку он сделал два кратких распоряжения: занятия прекратить и идти садиться в его машину. *Идти* я уже не могла.

После нескольких заездов в разные места Самир определил – таки меня в травмпункт. Безобразно толстая и безобразно грубая травмпунктиха равнодушно сказала: гипс. Я истерически расхохоталась: таков был мой ответ. Самир повез меня домой.

Ночь была кошмаром, тугие пелены я посрывала; через неделю кошмара мой любимый друг Сергей настойчиво стал уговаривать меня вернуться и дать наложить гипс. Среди банальных аргументов, которые я слышала и от других, была блистательная находка: подумай, Милечка, какая красота: месяц отдыха! Сиди, пиши!

Возглас этот значил для меня то же самое, что для Августина Блаженного «Иди, читай!» Я прозрела иное измерение бытия: месяц – месяц в гипсе! И еще месяц тоже почти полной свободы после! Диван, письменный стол и книги – все рядом: сиди, пиши, читай! Что надо нам, философам, кроме бумаги и карандаша? И ни одной семейной заботы!

Кончался май, наступало лето. Я предложила молодому мужу неслыханное пари: спорим на ящик шампанского (тогда я еще не знала, что шампанское продают не в ящиках, а в коробках), что за лето я напишу докторскую? Надо сказать, даже привычный к моей внезапности, он поначалу оторопел; а потом – я никогда не видела, чтобы человек изо всех своих сил так стремился проиграть пари! Все мои желания выполнялись (состояли они, в основном, в бесконечной веренице чашек чая), все помехи заглушались, дети вели себя ангельски, капризы мои игнорировались. В четыре утра солнце начинало заглядывать в наше окно. В семь оно потоком заливало письменный стол; Ренат распахивал раму, стелил одеяло, и я загорала прямо на столе о naturelle. Читала, помню, больше всего Хинтикку и Фейерабенда, их принес из университетской библиотеки Тимур: страницы сияли, отражая солнечный свет. Потом окно закрывалось, и я садилась писать. Рукопись кончила не за три, а за два месяца, а за август все напечатала. Ренат на руках носил меня гулять в лес; все мои юные приятели жалели и навещали меня. Самир бывал каждый день. Массаж и электроток немного позволяли мне ходить. То было счастливое лето, одно плохо: в Яльчике укоротилась смена, и вся она заливалась дождем. Те страницы, которые пришлось на Яльчик, – худшие во всем тексте, в них и сейчас нет легкой сухости, которую так ценю.

Следующий год ушел на борьбу за публикацию монографии, потом быстро воследовала защита. А проигранное шампанское Ренатик и по сей день возвращает мне. Кажется, он уже двадцатикратно переплатил. Но я, понимаете ли, принимаю. А вообще-то помощь его переоценить просто некому и невозможно. Достаточно сказать, что, если бы не его усилия, первая книжка моя не вышла бы в свет; а потому первый экземпляр – его.

В самом конце еще расскажу, как по – разному реагировали люди на мою травму. Мама испугалась больше всех: она сказала, ох, связки, это на всю жизнь. Будешь всегда, идя, напominать себе: нога, нога, нога... Володя Тишко, спортсмен, студент мой бывший, только рукой махнул да рассмеялся: отмассируют за два месяца. Получилось нечто среднее: несколько лет. Сегодня я почти не различаю, «здоровая» это нога или «больная». И последний мажорный аккорд здесь будет: массаж, массаж и массаж! И гимнастика. И лыжи. И – любовь и помощь твоей семьи, твоей Семьи, как бы мало ты ей не подходила.

(А вот еще я в Ялте, как Кармен, работала однажды на табачной мануфактуре... это, знаете... ну ладно, не буду. Вот лучше смешные стихи под конец).

Бред экзаменатора.

Твой призрачный, розовый, тающий отблеск
Упал на снега невесомой вуалью.
И солнца нездешнего умственный образ
Напомнил принцессу с кинжалом под шалью.

Качаясь, кривясь, напевая, лья желчь,
Гримасы сомнений ползут под одежду.
Собор – это храм, мотылёк – это мелочь.
Мотыль поздравляет собор с днем рожденья.

Приди, парадокс приблизительной рифмы!
Никто не придет, кроме пошлой фраземы.
Мне всё ж предпочтительней кудри Коринфа
Дорической плечи на темени колонны.

Глава III. Несвоевременные желания

Мое Несбывшееся громадно, роскошно и полно фантазии. Это не только домашние солярий, розарий и конный цирк, о которых мы мечтали в двадцать лет; не только острова в Тихом и Теплом Океане. Мое Несбывшееся – это непомерная гора со склонами, заросшими мансанилью, увенчанная пиком с блестящим острием. «Это Дезирада...» Оно настолько велико, что обычный глаз в повседневности ее, конечно, не различает, как мотылек, скажем, не в силах охватить взором Нотр – Дам. (А ргорос: моя лучшая в жизни шутка выглядела так: между стеклами книжного шкафа – две открытки. На одной – роденовский мыслитель; на другой, мордой к нему, в той же позе, одна из химер с крыши Нотр – Дам. Но это так, между прочим).

В полном соответствии с пылкими восклицаниями Грина, мы все плывем мимо высоких, лесистых берегов Несбывшегося, толкуя о делах дня. Я буду говорить лишь о двух Его ипостасях: Несвоевременных желаниях и Нерожденных желаниях.

Идя назад по времени, я попадаю в короткие три недели в Ялте. Мне шестнадцать лет, я похожа на галчонка, сижу лицом к солнцу на жесткой крупной гальке у кромки моря: это детский пляж, а я детский турист из детского пансионата. Основное противоречие этого, в сущности, яркого и безмятежного лета – искреннее восхищение природой и поразившим меня морем и тягостное недовольство ролью ребенка. Дело усугублялось тем, что я всегда выглядела многими годами моложе своего истинного возраста. В тридцать – сорок лет это мне славно послужило, но тогда!.. Туристическая группа казанцев состояла сплошь из тринадцати – четырнадцатилетних детей, и я чувствовала себя смертельно, непоправимо обиженной, находясь в подобном обществе.

Справа от меня – а я отводила глаза от солнца и невольно рассматривала уходящий плавной дугой к западу берег Яйлы – на пляже взрослых разыгрывалась следующая сцена.

В шезлонге, в махровом сиренево – белом халате, лениво шурясь, сидела вполне сформировавшаяся девушка лет 20–21. К ней медленно подошел высокий (наверняка высокий) и красивый (ведь не могло быть иначе), а также смуглый от загара (за это я уже поручусь), примерно тех же лет юноша. Он нес тоже высокий стакан с каким-то оранжевым напитком. С полупоклоном, но вместе с тем уверенно и чуть небрежно он подал оранжад девушке, которая неторопливо, даже без кивка, приняла его и стала пить. Вот и все. Я поспешно отвела глаза. Почему мне 16 лет?!

О юноша, ты создан для любви.
Вот мысль, что с одного родится взгляда
В твоё лицо. Других причин не надо:
Надежда и кипучий ток в крови.

Есть люди, чьё предназначенье – труд.
Другие, чьё предназначенье – праздность.
Есть те, что для детей иль войн живут,
Или созвучий, знаков, чисел, красок;

А ты – искал любви, её изведал,
Нас, женщин, изучал и изучил:
Привык к телам, слезам, привык к победам,
Вселенский пламень сердца – приручил.

Но встарь и вновь, невольник волн и молний,

К тебе идём – зови иль не зови.
Своё предназначение исполни,
О юноша; ты создан – для любви!

Ну просто хочется вслух воскликнуть: Господи Ты Боже мой!! Почему не я?! Почему не ко мне подошел этот юный бог, почему ко мне подошел опять тот же самый пятнадцатилетний Шурик из Дербышек и что-то пытается состричь, как всегда, а за ним маячит Саша из Ленинского района, тоже пятнадцати лет, и что-то бубнит про поездку в Алушту?!! Я не хочу этого ничего, я хочу сидеть сейчас в шезлонге в махровом халате и небрежно принимать высокий бокал прохладительного напитка из рук молодого, но вполне взрослого языческого бога! И делу не поможет ничто, ничто, бог даже не видит меня, хотя и смотрит, куря Филипп Морис, в нашу сторону. А я сейчас, вероятно, похожа уже даже не на галчонка, а на коричневого крысенка. И эти нелепые две косы!!

Положение несколько не спас тот факт, что со мной почти немедленно вступил в дружбу принц крови из Судана. Он был в прошлом охотником за леопардами. Родом из Хартума, одиннадцатый сын короля, он учился на архитектурном факультете в Киеве. На природно – коричневом колене он чертил спичкой арабские буквы: вязь получалась белой. Он был маленького роста, пугающе темный, с лиловыми губами и пятками и ужасно некрасивый.

Из Ялты я вернулась обозленной на всех обаятельных двадцатилетних юношей на свете. Я и сейчас, бывает дело, им умело мщу. Однако когда мне самой исполнилось двадцать два, и я уже могла иметь хоть три халата, поднос оранжада, без счета молодых поклонников упомянутого возраста, – желание это давно оставило меня. Пришло совсем другое.

Однажды я, молодая замужняя дама, ехала в муниципальном трамвае откуда-то куда-то. Рядом со мной за поручень кресла взялась еще одна рука. Старуха – татарка; она сидит, я стою; зачем-то она решила еще и придержаться за кресло впереди.

Рука была страшная, коричневая, в венах и морщинах, со вспухшими суставами, – и почти все скрюченные пальцы в каких-то пятнах были унизаны сказочной красоты перстнями. Музейные редкости, им было по сто – сто пятьдесят лет; даже неискушенный глаз сразу признавал в них произведения ювелирного искусства. А моя, моя скромная, смуглая, черт возьми, хорошей формы рука, привыкшая к смычку, была украшена одним – единственным недорогим обручальным кольцом...

Мне захотелось богатства. Не от хорошей жизни я все последние двадцать лет проходила в джинсах (ладно, бог берег фигуру); у меня просто не было ни гардероба, ни украшений. Двое студентов, потом два аспиранта, мы были счастливы и сильны совсем не богатством; но эти старухины перстни что-то сделали со мной. Никакой привычки к роскоши, ни беглой зависти, ни мечтаний подобного свойства, но в ту минуту... Опять – таки, положение не спасли тоже музейного достоинства серебряные браслеты, что привозил тогда юный муж из экспедиций. Я их все равно передарила позже тете – американке. (А она взяла и быстро умерла потом от рака).

Не говори, что ветром полон парус.
Ты никогда на яхте не летел.
Не говори, что капля точит камень.
Ты никогда над камнем не сидел.
Зачем ты мне сказал, что я – жар – птица?
И кто мне завтра это повторит?
Когда тебе из – за меня не спится,
То не любовь, то гордость говорит.
Ты покори – на время – это сердце,
Ты полонил – на время – эту речь.

Запахнет ночь анисом, тмином, перцем,
Заставит честным хлебом пренебречь.
Не говори, что не способны люди
Тебя судить, мой пиковый валет.
Не говори, что ты меня полюбишь:
Я не дождусь, мне не шестнадцать лет.

Это так, «Шутка». Это безотносительно.

Когда мне стало на десять лет больше, и я уже прилично зарабатывала и вообще была вполне самостоятельным человеком, я, вероятно, могла бы и завести дорогой гардероб, и купить какие угодно кольца, надеть их на все пальцы, хоть на хвост нанизать... Ка к вы понимаете, соответствующее желание давно покинуло меня. Мне теперь грезилась дальние страны, путешествия, полеты, морские полуторамесячные рейсы, Япония, Америка, Турция. Как-то внезапно до моего сознания дошло, что и там, и там у меня есть кузены и кузины, тети и племянники, – нет, я и прежде знала о родственниках, эмигрировавших за годы гражданской войны во все эти страны и посылавших нам время от времени короткие поздравления с религиозными праздниками, чеканно выписанные арабской вязью на прелестных открытках. Однако до той поры мне не приходило в голову, что все это рядом, на Земле, а не на Меркурии, и не во сне. И я до дрожи, до стонаний захотела уехать из Казани, если не навсегда, то очень – очень надолго и далеко. Однако то были годы того самого застоя, которые теперь кое-кому вспоминаются с нежностью; тогда простой визит на мой день рождения четырех – пяти иностранных курсантов или наш поход на дискотеку с ними же обеспечил мне пожизненное внимание спецслужб, соответствующее досье где-то в их анналах и ледовый период в моей карьере. Могу сказать в скобках, что защищенным кандидатом меня в итоге *восемь* лет держали в ассистентах. А у меня была семья, между прочим; и никем не прикрытый тыл.

Короче говоря, когда желание видеть мир оставило меня, застой кончился, граница на несколько лет открылась, иностранные родственники поехали к нам в гости, звали нас к себе, посылали приглашения, даже деньги... Папа съездил везде, молодец. Я же не хотела даже думать о том, чтобы тронуться с места; говоря словами чеховского героя, мне вот с этого стула лень было подняться, а вы – в Америку!..

Следующий этап начался, когда я почувствовала перебор общения. Это произошло логически, я бы сказала, даже онтологически естественно. Поскольку когда-то мы не могли позволить себе ни визитов (ибо для этого нужны были средства на туалеты и сувениры), ни дорогих дальних поездок, мы решили – пусть лучше мир сам придет к нам в гости. Петер, Франк, Харри, Олаф, Мария – Луиса, Норма, Фьонг, Дык, Туй, Флора, кубинки Таня и Соня положили начало; в промежутках, ясно, дом заполняли отечественные студенты. Потом, уже в 1985 году, я поехала в МГУ учиться на ИПК, и там невольно воссоздала ту же обстановку, что когда-то была у нас дома: дискотеки с иностранцами, разговоры до утра на русский манер, студенческая атмосфера; грузины, армяне и таджики тоже числились за иностранцев. Вацлав, Эмилия, Хорхе, Руфо Андрес, Шейла, Антон, Оганес, Лаврентий et al. составляли ту необходимую компоненту ежедневного общения, которая было выпала из моей жизни после развода с первым мужем.

Прошло еще десять лет на подобном же взводе; и вот сегодня я имею единственное страстное желание: сидеть на горе вроде Мамзишхи, в эвкалиптовой или иной экзотической роще, в белом доме с несколькими комнатами и невидимой прислугой, где мне, в сущности, нужны только библиотека, кабинет, курительная комната, спальня и ванная; я хочу жить одна среди любимых книг, читать, писать и слушать музыку, молчать, смотреть вдаль, петь или рассуждать вслух, все по собственному выбору. Я жажду уединения! Не одиночества; его я знаю

и боюсь (не забуду, как однажды, на грани срыва, я открыла дома окно и крикнула – ради бога, кто-нибудь, зайдите ко мне! хоть кто-нибудь! И действительно, с удивлением и достаточной робостью, ко мне поднялся любопытствующий паренек лет четырнадцати; он пробыл не более пяти минут, и тем спас меня). Необходимым условием покоя в подобном, грезящемся мне уединении является благополучие моей семьи. Я хочу видеть их со своей горы: они довольны, деятельны, счастливы, поддерживают друг друга и вполне самостоятельно живут в цветущей долине (в отличие от Ницше, я не презираю живущих в долине и не смогла бы уйти на ледяную высоту, чтобы пить из чистых холодных истоков и никогда не жаться к тем, кто пьет из потеплевшего и замутненного устья, в толпе, у подножья горы. Я не люблю ни чистого холодного горного питья, ни северного ветра).

Довольно ясно я представляю себе, когда и как сбудется моя жажда одинокого и свободного покоя. Женятся и уйдут мои мужчины, и я, постаревшая и подурневшая, одна, в пустой квартире, сопя носом и сморкаясь, утирая кухонной тряпкой частые слезы, буду то пытаться лихорадочно что-то сделать, изобразить, испечь, – связать, наконец (нет, вязать в лихорадке не выйдет), либо цепенеть в тоске, худшей, чем любая болезнь, а может быть, и небытие. Тогда я буду срываться с места и бежать к своим родным мужчинам, отношения с которыми у меня уже непоправимо осложнятся с их женитьбами, заискивать перед их супругами, скрепя сердце, пасти внуков (господи, как я не люблю маленьких детей!), а то и еще более странных пасынков – племянников, неумело готовить, неряшливо прибираться, с убытком ходить на базар, время от времени натужливо шутить, в шеститысячный раз вспоминая одни и те же байки из прошлого... И это все будет скоро. Я очень хорошо, я слишком хорошо осведомлена, что одинокая женщина все же может найти в себе силы и не быть отторгнутой своей семьей, которая была сперва в тягость, а потом стала единственным способом жизни. Для этого она должна решиться бросить все занятия и стать *«une bonne a tout faire»* – «одной прислугой за все». И этот извечный женский труд сделает ее пусть нехотя, невольно, с кислыми минами, даже с прямым неудовольствием со стороны невесток, – необходимой для своих близких, своих чад, чья ценность с годами, говорят, лишь возрастает для любящего сердца сестры и матери. Точнее я бы сказала, для полюбившего сердца, ибо из страха и жалости, из вечной тревоги и бдительности, не сразу и с трудом рождается эта любовь. А поддерживается она кантианским чувством долга.

Описанная картина меня в такой мере пугает, что я с эгоизмом и корыстью, чуть не с жестким самодовольством напоминаю себе, что я, черт побери, ученая дама. Сие обстоятельство рисует несколько иное будущее... Но в связи с этим я хочу сначала вспомнить один эпизод.

Дело было почему-то в Смоленске. Этот средней руки провинциальный город организовал Всесоюзную конференцию по семиотике, что для меня и сегодня необъяснимо. И вот утром, выходя из гостиницы и направляясь на пленарное заседание, я увидела, как то ли из такси, то ли маленького пикапа шестеро мужчин самой представительной внешности и вместе с тем с подобострастной манерой приняли на руки и почти снесли на руках на тротуар смуглую старуху со сверкающими темными глазами и прядями цвета седой чернобурки из – под старомодной шляпы. Выдающиеся нос и подбородок придавали ей дополнительное сходство с ведьмой из кукольного мультфильма. Каркающим голосом, грассируя, она довольно громко отвечала на их вопросы: «Нет, вот сегодня я спала хорошо; удалось отдохнуть; и чувствую себя тоже хорошо».

Это была Евгения Гинзбург.

С каким артистизмом, с какой глубиной подала она свое сообщение с кафедры! Ее анализ герменевтических смыслов элегии, ее критика, ее примечания, стоившие целых статей, ее божественный, очень низкий голос с прононсом, подразумевавшим не менее чем Сорбонну за плечами...

Я подумала тогда: вот самое блистательное завершение жизни, о котором только я и могу мечтать. Чтобы меня, семидесятипятилетнюю, с величайшим почтением, поддерживая под локти, вели в конференц – зал или номер гостиницы, а я сообщала бы, что чувствую себя неплохо. Тогда я поняла, что хочу умереть за кафедрой, читая лекцию.

Мне было двадцать девять лет. Поживем – увидим, но такое будущее тоже правдоподобно. Наберу аспирантов, организуем **epistemological circle**; разошлю статьи по разным журналам; стану членом всех и всяческих Ученых Советов; напишу свою Главную Книгу... если только смогу подойти поближе к сущности истины... Я никогда не достигну ни высоты, ни трагизма, ни литературного таланта, ни знания жизни Евгении Гинзбург. Но если я пойму, что такое истина, я построю новую систему гносеологии.

* * *

Не только огромные, но и маленькие желания бывают у меня несвоевременными. Я бы хотела в семнадцать лет уметь танцевать так, как сейчас; я бы хотела в восемнадцать запросто за столом беседовать с Юноной Каревой и обсуждать с ней судьбы наших детей так, как сейчас, а в девятнадцать – двадцать уметь готовить еду хотя бы так, как сейчас. Завтра я буду с эстрады петь песни на пятнадцати языках (это не значит, что я все эти языки знаю). В микрофон, перед полутысячным залом; но это надо было тогда, тогда, не сегодня, тем более не завтра.

Рассказанное не означает, что я не жду от жизни радостей, и удовольствий, и побед. Но вспомним старое: *if youth knew, if age could...*

Глава IV. Нерожденные желания

У меня есть необычайно привлекательная маленькая приятельница. Когда ей было 15 лет, и я вела у них английский, поначалу мне хотелось называть ее «Малютка Элси». Это не прижилось, и я невольно стала звать ее «птичка» – за веселый щебет и смех, какое-то особое сложение и странный взгляд разных глаз – пристальный, но без смены выражений. Потом оказалось, что малютка Элси именно птичек-то и не выносит; надо видеть, с каким отвращением она произносит: лапки! когти! пёрушки! – и делает пальцами соответствующие жесты. Несмотря на сексапильность, напрочь отметающую всякие предположения о ее уме и серьезности и допускающую лишь опытность, малютка Элси – человек пронизательный и начитанный. (К слову сказать, о сексапильности Птички я поначалу не догадывалась, в этом отношении я в жизни часто промахиваюсь в оценках. Раскрыл мне глаза Ренат, тогда еще молодой и вроде бы влюбленный именно в меня, когда сладким голосом, глядя на малютку Элси, сидевшую на крупном суку весеннего дерева, произнес: «Давай сюда свои хорошенькие ножки!»)

Так вот, именно эта девушка года два – три назад произнесла умнейшую вещь: «Мне дают много, но совсем не то, что мне нужно». Если бы могла, я сама стала бы автором этого афоризма. Многие мои потенциальные желания были удовлетворены, не успев родиться; а это тоже грань Несбывшегося. Например, я никогда не хотела – или не успела захотеть – иметь собственную квартиру, собственное хозяйство и детей, знать, что вот этот коврик – *мой* коврик, этот шкаф – *мой* шкаф и т. д.; как, скажем, сестра всю жизнь до безумия обо всем этом мечтает, а по ночам, по ее собственному признанию, все обставляет и обставляет эту мифическую *свою* квартиру. Я всегда была согласна играть в доме вторую вслед за мамой или кем угодно скрипку, ничего не решать самой, не знать цен и адресов, ничего не иметь, кроме джинсов и свитеров, выполнять указания относительно уборки, стирки и готовки, которые отдавала бы какая-нибудь другая «старшая». Мысль о собственности как великой ценности впервые посетила меня, когда я вышла замуж и ушла из родительского дома, оставив там книги, на которых выросла, – пять тысяч томов, *свои* книги, свое прошлое, свои переживания и мысли, своих учителей – они оказались *не мои*. Моих собственных, т. е. купленных мною или персонально подаренных, оказалось всего штук двести. Произшедшее деление библиотеки было ужасным ударом. Я стала, выбиваясь из сил, покупая и выпрашивая, собирать новую. Хотя книги были тогда дешевы, но не для нас, считавших три копейки за серьезные деньги: можно карандаш купить, а уж двадцать копеек – тут и до булки недалеко, еще день выживем.

Через тринадцать лет мы разошлись, и оказалось, что половина библиотеки опять не моя; этот новый удар я уже еле вынесла. Моральное падение, постигшее нас, выражалось, на чужой взгляд, комично: по ночам я вылезала босиком в длинный коридор и инспектировала связанные и подготовленные к переезду пачки книг. Свистя с ненавистью: «Это мой Шоу!» – или «это мой Гоголь!» – вытаскивала из – под крестов шпагата любимцев и возвращала на полки. Муж с женой (в смысле – с новой женой) спали в кабинете и ничего не слышали, а по утрам упомянутая жена, ворча, дергала ослабевший шпагат на приготовленных пачках, недвусмысленно намекая на второй смертный грех.

А по вечерам, наоборот, уже я с упавшим сердцем замечала, что на полках *моего* стеллажа наклон у *моих* книг угрожающе увеличился, пока я была на работе... Тьфу, тьфу, как бы все это забыть?! Мы не ссорились из – за дежеля мебели и гардероба, посуды или инструментов; даже чайный гриб, плававший в трехлитровой банке, я без жалоб позволила горизонтально разделить, разве что истерически беззвучно рассмеялась, когда отодранный толстый липкий полупрозрачный блин гриба скользнул, как скат, в другую банку. Рассмеялась я, собственно, над своей ошибкой; я сидела на старом авиационном кресле в замусоренной кухне, на дворе грузился «камаз», они уезжали навсегда, и невеста почему я решила, когда он быстро вошел,

что сейчас будет все же какое-нибудь сентиментальное прощание... Я и не хотела, и хотела этого... ведь мы договорились расстаться цивилизованно, «с зажженными огнями», как расходящиеся корабли... все уже десятки раз миром и войной обсуждено... ни речи об алиментах, ни шантажа, ни предъявов... упаси бог, не настроить детей против отца... отвечать им надо будет так, я же все продумала: «А ведь и мой папа живет на другой улице. Если соскучусь, я пойду и съезжу к нему; и ты так делай!» Одним словом, прощание произошло не со мной, а с чайным грибом, нашим общим любимцем, единственным существом, выжившим в нашей семье, кроме людей. Растения у нас высыхали, хомяки дохли, котят мы просто отдирали балконную дверь и выкидывали в сугроб. Нечего мяукать, когда человек спит.

В фойе

Эгрет из перьев цапли мне кивает,
Среди песцовых лис плывет плечо.
Блестит, как сталь, улыбка неживая,
Лак ртутью обливает башмачок.

А взгляд тенистый прячет узнаванье
Того же дня, того же зала, тех,
Двухлетней дали, пеней упованья,
Которых ныне и помин истек.

– Какая встреча, Вы, мон шер! К чему же
Надутый вид? Сегодня я добра.
А я, представьте, схоронила мужа...
– Давно ль, мадам?
– Давно, уже вчера.

Вот хорошие стихи. «Сеть кошмарного сна».

Белый плащ, гордый голос, кровавый подбой.
Я Пилат, ты придурок с нелепой хвальбой.
Я хотел не войны, а беседы с тобой!
Что ж, веди своё стадо на крест за собой.
Я девица – дикарка, сильна ворожкой,
Дружкой с зверем – газелью, сурком и козой.
Занимаемся мы не спортивной ходьбой, —
К водопою бежим золотою гурьбой.
Вот и спуск, и гезенк, вот и штрек, и забой,
Вот и штольня, куда нас влекут на забой;
Козодой, водолей, чародей, зверобой!
Я в петле, в паутине, в сетях, я с тобой!
Попытай, потолкуй с необъездной судьбой!
Посидим, помолчим, предсказуемый мой.
Друг, мне скучно с тобой.
Брат, мне скучно с тобой.
Новый друг, и с тобой...
Новый муж, и с тобой...

Сын, следи за моей нескончанной судьбой!
Это может случиться, любовь, и с тобой:
Перебор, недолёт, перелёт, перебой,
И смеются Ананке, Фагот и Гобой.
Ни покой, разложивший походный костёр,
Ни диван духовидца, чей разум остёр,
Ни альков, что ко мне свои руки простёр,
Дожидаюсь, – войду ли в затейлив шатёр, —
Не получают меня, вырываюсь я в бой,
Не беды я боюсь, а томленья с тобой.
Белый плач, голый город, кровавый разбой.
Я таящийся сиу, ты летящий ковбой.
Магдалина, простри свою руку с мольбой!
Я во сне, я в беде, вон Исус с голытьбой...

Но я далеко отвлеклась. Я только хотела объяснить, что чувство собственности у меня конкретизировано как любовь к книгам, некоторым пластинкам, джинсам и свитерам. И все.

Я могу назвать по именам многих из этих нерожденных детей, из желаний, не успевших прийти вовремя или вовсе не могших зародиться. Это факультет иностранных языков; это семья; это ступени административной карьеры; это роль исповедника, духовника, которую я обречена исполнять в силу необъяснимого демократизма, авантюрного духа гадалки и великодушного отношения к людям. Это дружба и любовь многих ненужных людей. Взамен, понятное дело, это отсутствие оных у тех людей, которые симпатичны и интересны мне самой (но, правда, последнее гораздо реже. Прямо скажем, «не поддались» мне только двое за всю мою жизнь).

Выработанное толерантное отношение к людям часто побеждает у меня врожденную нетерпимость, требовательность и критицизм; однако это великодушие, может быть, основано на три четвертых не на доброте, а на пессимистическом, стоическом убеждении, что лучше все равно не будет. Не напрасно первый муж, когда досадовал, звал меня «ослик Иа-Иа». «А – а, заблудились? Конечно же, вы заблудились, иначе разве вы зашли бы в мой дом?» – а при прощании: «Спасибо, что случайно проходили мимо!»

Нет, это я уже чересчур. Это я так шучу.

Наиль, когда раньше заходил к нам (который именно Наиль – это уместный вопрос. Который сын самого Альфреда Хасановича), – так и шутил как раз: «Шел мимо вашего дома, дай, думаю, чаю попью». Мимо нашего дома идти было абсолютно невозможно: он был последний в городе. Вокруг цвели на пустырях поля ромашек, под окном урчал мирно пашущий советский трактор, впереди, насколько хватало глаз, простирались поля ржи (или пшеницы?), а на горизонте зеленели холмы, дикие овраги и культурные растения вроде яблонь, малины и смородины на множество и множество аров к северу и югу вдоль сухой реки. А на часах, допустим, половина двенадцатого ночи (так что вся описанная картина тонет во тьме). Нет, *мимо* нашего дома идти было никак нельзя, физически некуда, еще и в такое время (а гости шли к нам круглосуточно). Так что, если уж человек до нас добрался, то точно – к нам. Еще пока мы жили в центре, в этом можно было засомневаться, но все последние 20 лет жизни в Горках, – нет, уж к нам, так к нам.

Опять я отвлеклась. Расскажу сейчас, как я попала на инфак, совершенно того не желая.

В 68-м году я закончила десятый класс английской школы, первой в городе, и принялась с полнейшим хладнокровием подбрасывать, метать и бить баклуши. В эту школу я попала тоже нимало того не желая, уже в пятый класс, когда ученики для новичка недостижимо бегло читают, пишут и говорят по – английски. Я бы туда и не попала, если бы в моей родной тузем-

ной школе не ввели немецкий; этого уже мама не захотела, она больше любит английский. Встал вопрос о переводе, а переходить – так в самую лучшую, а поскольку все учителя в восемнадцатой, включая завучей и методистов, были маминими студентами, меня приняли посреди ноября. И погрузили – или швырнули – в стихию языка. За два дня до перевода мама объяснила мне разницу между Present Indefinite и Present Continuous.

С другой стороны, я не знала разницы, допустим, между [vi:] и [ju:]. Ее потом мне указала Татьяна Волошина, лихая девушка, из чьих рук я приняла первую сигарету. Нет, папиросу. В шестом классе, когда надо было играть на школьном театре Павлу Панову. Поразительная учительница литературы, Лидия Николаевна, вылепляла образ белогвардейки в белой кружевной блузе, с волосами, уложенными в высокую прическу, с пальцами на клавиатуре тяжелого, как пулемет, «ундервуда» и с беломориной в зубах. Она санкционировала; я стала искать тренера; им оказалась Танька Волошина. Мы с ней год сидели вместе на английском, пока не появилась умная, тонкая, нежная, белокурая Марина, счастье мое. Но это было уже потом.

Брошенная безо всякой жалости в океан языка, я сперва погрузилась в это пение, шлепание, свист, шелест, а на дне – ядовитые колючки, акулы, актинии и масса погибших кораблей, а также надолбы, электрические скаты и другие препоны. Выплыв, я уцепилась за Теннисона. Его прекрасные баллады и короткие, напевные, сладкие сонеты стали для меня преддверием рая. Не будь стихов, не ведать мне английского никогда, тем более что я прежде хотела выучить испанский и греческий.

Это все прелюдия, долженствующая показать, что я никак не могла к концу школьного курса начать мечтать учиться на инфаке. Кроме странного, в одной мере раннего (ибо малышкой, я помню, мне приходилось декламировать «Rain, rain, go away, come again another day», то есть мама – таки меня образовывала, да и учебников, и английских книг в доме было множество), а в другой мере – позднего введения в язык, препятствовавшего появлению подобной мечты, были другие сдерживающие факторы. Например, я очень любила литературу, физику, особенно астрономию, географию и почему-то тригонометрию, русскую же грамматику имела в крови от рождения. Наверное, если бы я убедилась, что физфак мне недоступен, журфак – бездельная богема, истфак – безыдейная пьянка, на филфаке просто скучно, а в консерваторию без музыкального училища меня не возьмут, – только убедилась бы на личном опыте, походя попробовав завербоваться в армию, чтобы повоевать на Даманском (или это позже было?), сбежать из дома, дабы немного построить БАМ, потом стать моряком, как Пятачок, а потом выйти на дорогу, чтобы автостопом следовать за летом; собрать урожай всех неприятностей, какие сулит эта цыганщина, etc.,etc., – тогда бы я, может быть, и смогла начать мечтать об инфаке. В *последнюю* очередь.

Лето шло, я пинала баклуши. Я не знала, куда хочу. Я, кажется, хотела бы, чтоб мне просто дали осмотреться...

Мне не дали. Тридцать первого июля мама взмолилась: «Поддай документы на инфак! Выучишься, не понравится, пойдешь куда угодно! Ведь сегодня последний день, завтра вступительные экзамены!!»

Мы с Мариной были действительно, literally, последними, кто принес документы в приемную комиссию пединститута в тот сезон. Было около шести часов вечера, кончался июль.

Уверенная, что назавтра я сдаю вступительный (и сдам!), я собралась второго августа уезжать с папой на Урал к родственникам. Я не знала, что экзамены проходят в несколько дней, и мы с подругой, подавшие заявления позже всех, попали в седьмую группу, на второе августа, а не на первое.

Было около двух часов дня; жарко, солнечно в аудитории. Милейшая Татьяна Георгиевна и еще какая-то дама, улыбаясь, слушают меня, а я самодовольно, размахивая руками, вещаю что-то сверх программы (насколько я помню, Чосера). Вдруг в дверь заглядывает папина

голова. «Милюсенька, ты еще не поступила в институт?» – «Сейчас, папа». И – Чосера, Чосера! Бэду Достопочтенного! И свою «коронку» – Гимн Кэдмона...

Потом мы пошли на базар, потом домой, а потом быстро на вокзал – и в Пермь. Если бы я знала! Если бы только знала, куда, не скажу, – влипла, скажу – поступила, и какова там будет жизнедеятельность! Но в сентябре мы надолго уехали в колхоз, собирать свеклу, в октябре я не могла поверить своим ушам, в ноябре восстала, через два года восстала еще выше и уехала в горьковский институт иностранных языков. Поступила – и вернулась, не стала учиться. Опять мама. Влияние ее на меня было абсолютным. Она стала плакать слезами, в том смысле, что если я сейчас уеду, то навсегда уеду, с такими глазами (какими глазами?!) выскочу там замуж, попаду в горьковскую деревню, где и останусь навеки. И пусть я имею в виду, что горьковская деревня ничем не лучше татарской, только русская. А какая восхитительная решающая фраза: «Ты же там одни конфеты будешь жевать, и все, что с таким трудом из тебя создано, – все будет похерено!»

Я разорвала документы и осталась.

Год с лишним занял роман с Гизо (старый след: из – за наших грузинских женихов мы с Мариной всю жизнь зовем себя, друг друга и прочих женщин уменьшительно – ласкательно: Ирочка, Анечка...) Параллельно в следующем сентябре я познакомилась с будущим мужем: на дне рождения у нашей общей красавицы – подруги. Через год, тоже в сентябре, была наша свадьба. Прическу, греческую головку, делала мне к этому дню престижнейшая, моднейшая парикмахерша, доводившаяся тётей моему бывшему жениху и одновременно близкой приятельницей моей будущей свекрови. Ведя меня домой к дамскому мастеру и расхваливая её куафёрное искусство, каен ана (тат. «свекровь») не знала, что я уже бывала в этой уставленной антиквариатом квартире, только в качестве невесты Гизо, а я не знала, куда, к кому именно меня везут причесываться. Но это так, побочный эпизод, хотя и смешной.

А еще через сентябрь я пошла работать в университет, преподавать английский на юрфаке. Сынишке было около трех месяцев.

Учиться на инфаке было невероятно скучно и как-то оскорбительно. Во – первых, легко: после неадаптированной Саги о Форсайтах в десятом классе – здесь начали с адаптированной Logna Doop. А во – вторых, тяжело: восстановленная школьная обстановка ежедневных опросов, полной подотчетности и какой-то презумпции виновности. Это был уже далеко не тот инфак, с которого все начиналось. Тот был основан на преподавательском корпусе ЛГУ, эвакуированного сюда во время блокады, и представлял собой маленькую Европу: никто не говорил по – русски; господствовал аристократический высокий стиль; я вспоминаю гигантские фестивали, какие-то лотереи, самих ленинградок, у которых училась моя мама, авторесс вузовских учебников английской грамматики... Многих уже нет в живых, но вот, например, Анна Васильевна Ширяева до сих пор преподает язык, уже опять в Питере. А на сегодняшнем инфаке, слышно, языки идут даже не каждый день, ибо Главный наш предмет – педагогика.

Кроме того, учились мы во вторую смену, с двух часов, поэтому – всегда темно, всегда поздно, всегда утомительно, хотя и нетрудно, всегда сонливо... Вечная осень, вечная зима. И ни на что другое, чем, смутно догадывались мы, должна являться студенческая жизнь, – времени совершенно не оставалось.

Единственную реальную трудность составлял для меня немецкий язык (как я опасаюсь, непреодолимую).

Воспряла я несколько, когда пошли лекции по диалектике: инстинктивно почувствовала, что где-то здесь есть ответы на мои недоумения, которых накопилось много. Однако тема быстро кончилась, другие меня не так потрясли, и только теория познания уже в конце курса, в мае, опять вызвала тот же резонанс в душе: я снова дрогнула от узнавания, от несомненности, от близости истины... Увы, на теорию познания из – за настырных майских праздников никогда и ни у какого лектора не остается времени.

Ещё объективная причина того, что на инфাকে было скверно учиться: моя мама, уходя из пединститута и принимая кафедру в военном вузе, увела с собой еще трех – четырех лучших преподавателей. Поредевший, можно сказать, обезглавленный корпус их не удержал бы меня, если бы, на счастье, прямо с неба не спустилась туда Прекрасная Дама: Ада Степановна Реутова, которая и провела с нашей группой неотступно пять лет, отгоняя мрак невежества и провинциального высокомерия, являя пример настоящей леди и вместе с тем настоящей труженицы, ставя произношение, добиваясь автоматизма в грамматике и вдохновения в *precis*, работая над всеми аспектами языка, чего сейчас на инфাকে, слышно, нет – как нет. Присутствие Ады Степановны примирило меня с судьбой.

И еще мне в принципе очень понавилось искусство перевода. Например:

Берем древнеанглийский текст о путешествиях богатого норвежского купца Охтхере, из «Мировой истории» испанского священника Орозия. Её перевел король Альфред с латинского. Не только сам по себе ранний уэссекский диалект представляет интерес для лингвиста. Собственные вставки Альфреда содержат довольно богатый географический и этнографический материал. Вот как начинается рассказ Охтхере о своем первом путешествии, в Белое море.

Ohthere sǣde his hlāforde, Æffrēde cyninge, þat hē ealra Norðmonna norþmest būde. Охтхере сказал своему господину, королю Альфреду, что он из всех северных людей всего дальше побывал. (Отметим попутно: господин, лорд, означает буквально «хозяин хлеба»).

Hē cwæð þæt t hē būde on þāem lande norþweardum wiþ þā Weastsæ. Он сказал, что был на той земле в направлении к северу от Западного моря (Атлантического океана).

He sǣde þēah þæt þæt land sīe swīþe lang norþ þonan; он сказал потом, что та земля очень далеко простиралась на север; ac hit is eal wēste, būton on fēawum stōwum stycce – mǣlum wīcīað Finnas, on huntoðe on wintra and on sumera on fscade be þære sǣ. Но она вся пустынна, однако кое-где (на некоторых местах, там и сям) живут Финны, на охоту [выходя] зимой и на рыбную ловлю летом.

Можно видеть, насколько древними и прочными являются глаголы бытия, обозначения сезонов и основных занятий северных людей.

Далее идет рассказ о том, сколько дней заняло путешествие, о его маршруте, о больших реках «вдающихся в землю» из моря (этот оборот встречается позже и в знаменитых 16 – ти исландских сагах о конунгах, «Heimskringla», «Круг земной»); о разных народах, встреченных Охтхере на пути. Одна деталь способна взволновать лингвиста: Þā Finnas, him þūhte, and þā Веормas sprǣcon nēah ān gefēode. Финны, подумалось ему, и Пермьки говорят почти на одном и том же языке.

Угро – финском.

Эти наблюдения велись не в XIX веке (Вильгельмом фон Гумбольдтом, родоначальником сравнительно – исторического языкознания), а в IX – м.

Так может ли удивлять сообщение о том, что Витгенштейну в XX-м веке «открылось» фамильное родство языков...

Да, перевод – вещь очень увлекательная оказалась.

Существует глубокая «лакуна» между этническими языками; изоморфизм в элементах и связях языковых подсистем отсутствует. Это касается не только стилистических нюансов и оттенков; прямо не переводимы не только семантические тонкости, но и принципиальные, базисные, например, пространственно – временные восприятия и оценки. Хорошо известны «муки слова» людей, причастных к литературному творчеству; эти муки троекратно усилены у литературных переводчиков. Перевод следует считать самостоятельным и очень трудным видом творческой познавательной деятельности. Лингвистическая картина мира, безусловно, открывается носителю родного языка иначе, чем иностранцу. Например, прямой перевод слова *belief* («вера») будет неправильным, если мы имеем дело с текстом Фейерабенда или Полани (у них этот термин означает «убежденность»), и правильным, если это текст, скажем,

Б. Л. Кларка. Перевод – это грандиозный поход по десяткам словарей и энциклопедий, это музыкальный слух, тренированный ум, языковая догадка, глубокие экстралингвистические знания. В одном из отношений его механизм – это перевод скрытого знания в «фокус» сознания, транспортировка этого сфокусированного и концептуализированного значения и «рассеивание» его в сознании коммуниканта для воспроизведения единства явного и неявного уже на другом языке.

Reiner Marie Rilke

Pietà

So seh ich, Jesus, deine Füße wieder,
die damals eines Jünglings Füße waren,
da ich sie bang entkleidete und wusch;
wie standen sie verwirrt in meinen Haaren
und wie ein weisses Wild im Dornenbusch.

So seh ich deine nie geliebten Glieder
zum ersten Mal in dieser Liebesnacht.
Wir legte uns noch nie zusammen nieder,
und nun wird nur bewundert und gewacht.

Doch siehe, deine Hände sind zertissen, —
Geliebter, nicht von mir, von meinen Bissen.
Dein Herz steht offen, und man kann hinein:
Das hätte dürfen nur mein Eingang sein.

Nun bist du müde, und dein müdes Mund
Hat keine Lust zu meinem wehen Munde —
O Jesus, Jesus, wann war unsre Stunde?
Wie gehen wir beide wunderbar zugrund.

Райнер Мария Рильке

Пьета

Вновь вижу я стопы твои, Иисусе;
Когда-то милого ребенка ножки
Вот пеленаю, омываю их.
Как в ветвях птаха дикая, сторожко
Они белеют в волосах моих.

Вот я смотрю на девственные члены

Впервые в эту ночь своей любви;
Ни разу не скрестили мы колена;
Теперь лишь зреть и бодрствовать, увы.

Истерзаны твои, любимый, пясти;
Нет, то не знаки пиршественной страсти.
Твое открыто сердце, всяк входи,
Хотя лишь я должна была б войти.

Ты истомлен, и твой усталый рот
К лобзаньям горьким не имеет вкуса.
Когда же был наш час, о мой Иисусе?!
Теперь к земле мы никнем в свой черед.

Robert Frost

Come in

As I came to the edge of the woods,
Thrush music – hark!
Now if it was dusk outside,
Inside it was dark.

Too dark in the woods for a bird
By sleigh of wing
To better its perch for the night,
Though it still could sing.

The last of the light of the sun
That had died in the west
Still lived for one song more
In a thrush's breast.

Far in the pillared dark
Thrush music went —
Almost like a call to come in
To the dark and lament.

But no, I was out for stars:
I would not come in.
I meant not even if asked,
And I hadn't been.

Роберт Фрост

Войду

Как дошел я до края лесов,
Дрозд чиркнул – трень!
Сгушался вечерний покров,
Внутри мрак и тень.

Нет сил в цепенящей мгле
У певца, ворохнувшись, сесть
Почуднее на ночь в тепле;
Но он мог еще спеть.

И в грудке живой души
В такт тремоло трепеща,
Последний из отблесков жил
Умершего солнца луча.

В колоннах дворца темноты
То пенье лилось —
Почти приглашенье войти
В обителище слёз.

Но нет, я в мерцанье светил:
И, будь приглашен,
Я все же не стал бы входить,
А зов не пришел.

William Shakespeare

LXVI

Tired with all these, for restful death I cry, —
As, to behold desert a beggar born,
And needy nothing trimmed in jollity,
And purest faith unhappily forsworn.,
And gilded honour shamefully misplaced,
And maiden virtue rudely strumpeted,
And right perfection wrongfully disgraced,
And strength by limping sway disabled,
And art made tongue – tied by authority,

And folly, doctor – like, controlling skill,
And simple truth miscall'd simplicity,
And captive good attending captain ill:
Tired with all these, from these would I be gone,
Save that, to die, I leave my love alone.

Вильям Шекспир

LXVI

К покою смерти, ибо изнурен,
Взываю я, пресыщен мира злом.
Взирать на сырых нищих принужден,
И на плюмаж нарядный над ослом.
И на богатство, доблести врага,
На поношение веры, легшей ниц,
На силу, охромевшую в бегах,
На поруганье девственных юниц,
На оклеветанную красоту,
На злых глупцов самодовольный вид,
На стыд художеств, коих немоту
Тщеславье, низкий цензор, властно бдит.
И я б давно ушел, одно претит:
Что смерть мою любовь осиротит.

Завершая сюжет об инфаке, скажу, что со временем я стала сентиментально относиться к old school ties и гораздо больше ценить их, чем в детстве; and besides, of course, it's a bad bird that fouls its own nest. From now on I'm not going to do things like that, 'cause I'm winning bread for my family here... Though I never have been dreaming of that. But frankly speaking, научилась говорить по – английски я не дома, не в школе, а именно на этом факультете. Это правда.

Одно из центральных нерожденных желаний – иметь семью. Я успела оказаться замужем, не успев возмечтать об этом. Конечно, будь дело в Швеции, я бы знала, что совершенно не обязательно каждый раз выходить замуж. Личную жизнь всегда можно иметь, но семья – это нечто другое, это менее всего личная жизнь. Это первобытный строй, в снятом, а то и в первозданном виде присутствующий в цивилизации, это своеобразное рабство и средневековье, своеобразное капиталистическое хозяйство, чистоган, купля – продажа... Словом, это все формации вместе. (А не учит ли диалектика, что все высшие формы движения содержат в себе все низшие в снятом виде?) Мало того, в семейной жизни я обнаруживаю *столько* обезьяньего (во всяком случае, в отечественной семейной жизни), что, будь такая возможность, позволяй мораль, не умри от позора родители, не возникай угрозы сомнительной от рождения репутации для детей – сыновей с материнскими фамилиями, – словом, меньше азиатчины, – и я бы ни за что не вышла замуж. Ни за что. Во всяком случае, тогда.

Вспоминаю, как папа рассказывал о своей американской кухне Рамзии – апа (которой достались мои серебряные браслеты): она никогда не выходила из своей комнаты, предварительно не приведя себя в порядок, т. е. не приняв ванны, не одевшись neatly, не сделав макияж, не обретя подходящего настроения... Ага. Попробовала бы я. Ванна, потом массаж, – а, нет,

сначала гимнастика, потом массаж, потом ванна, потом одежда, потом макияж, потом другая одежда, потом кофе, потом выходишь с сияющей и доброй улыбкой к своим домашним, потом лёгкий завтрак, потом Жорик на «Хонде» везет тебя в университет, читаешь блистательную лекцию (а следующая у тебя только через неделю, а в середине – ничего, разве что секретарь подаст на рецензию страниц десять текста, или надо провести вместо Председателя заседание диссертационного совета по защите, а потом немножко банкет... Но это не каждую же неделю, это раз в месяц – два, а так —), потом в ресторан на обед, тихий час, прогулка, опять ванна, вернисаж, театр, ужин, шампанское, забыла, какие еще слова обозначают нормальную человеческую жизнь... Всё обезьянье, больное, интимное скрыто от всех, завтрак и ужин материализуются невесть откуда, грязное белье, наоборот, просто дематериализуется, не гнущся же мне надо всем этим десятилетиями! А, да, вспомнила слова. Скромное обаяние буржуазии. Нет: тогда еще «жемчуг», «бриллиант», «бал», «сафари»...

И ведь всего-то два условия нужны: презренный металл, который наше родное государство при любом режиме пролетариям умственного труда ни в какую не даёт, а воровать они не хотят, а торговать не могут. Нет, тоже не хотят. Хотят читать лекции по философии и логике и заниматься наукой. И второе условие: чтобы основная нация в стране была стареющей. И всё. Отсюда – мягкая мораль: давай, давай ещё одного шведа! Давай скорее сюда ещё одного маленького шведа, неважно, в законном или незаконном браке зачатого!!

А в Индии в последнем случае убьют. А в татарской деревне ворота намажут, забыла чем. А у нас выпихнут замуж, «пока не струсилось».

Нет, поймите, я очень люблю своих чад и домочадцев. Это отличные, добрые, преданные, умные, красивые парни. Друзья. Надежда. Гарантия того, что в будущем нечто будет случаться именно со мной, то есть что я не со стороны буду наблюдать чью-то жизнь, а всё происходящее будет происходить в *моей* судьбе. Это всё хорошо.

Плохо, что сам институт семьи, ненавистный мне, так непоправимо успел повредить, столько отнял, столько воспрепятствовал, что даже страх одиночества, мне думается, не сможет нейтрализовать эту ненависть. Я слышала от многих про постылую свободу, но почувствовать это заявление как свое собственное я не могу.

Может быть, доживи я до сорока трех лет без мужа и детей, я бы и выносила желание иметь это всё, как, скажем, произошло с моей подругой юности. Как никто другой, она была приспособлена природой к жизни в семье, и как никто другой, мучилась долгим ожиданием, ошибками, непопаданием, – и верю, что, как никто другой, она осознанно счастлива теперь. От души желаю этого, но все это не для меня. Мне подавай свободу. И только при этом выполненном условии – любовь, работу, развлечения, словом – жизнь.

Как все это неоригинально.

И всё же повторю, я это повторю, инерция велика: любой гимн в честь семьи мне кажется гимном в честь чумы, как у Вальсингама.

Я выполняю обязательства и плачу долги, как честный человек. Я непременно выращу и доведу до самостоятельного существования и детей, и братьев, которых удастся, и других членов семьи. Я пользуюсь любовью этих самых членов, совершенно незаслуженной (может, не всегда искренней, а может, и не всегда любовью), короче, Семья, должно быть, должна быть. Но зачем, за что же это всё повесили на меня?! Пусть это делает тот, кто хочет! Кто это любит, имеет способности, не имеет других, во всяком случае, других целей, – ах, на здоровье, я так буду рада, что кто-то полез в эту шахту вместо меня. Меня же именно семья превратила в человека без цели, взгромоздившись на то место, где могли расцвести мои несравненно прекрасные и благородные цели, возможно, послужившие бы всему абстрактному человечеству. В итоге я осталась навсегда человеком причины. Как неживая природа, как стихия, я ничего не делаю «what for?», а все только «why?»

Между прочим, исторически «familius» означает «домашний раб». Ну, да ладно.

Утешительно знать: все, в чем отказано мне, троекратно дано моей сестре.

Сладчайшая гейша, голландская роза,
Корзиночка спелых и крепких грибов!
Панбархата плечи, малиновы речи,
Высоко летит прихотливая бровь!
За смысл почитает покой и довольство,
Любовь – за грозу, а добро – за красу,
Тоску – за болезнь непонятного свойства,
Беду – за расплату и божеский суд.

Улыбчивый ангел, сестра золотая,
Ты – сердце семьи, так угодно судьбе.
В своём одиночестве молча мечтаю,
Прошу себе воли, а счастья – тебе.

Глава V. Мой маэстро

После таких ламентаций приятно вспомнить о нескольких годах, которые были расцвечены, освещены и украшены звуками музыки, бликами света на лаковых деках скрипок, благородными отзвуками виолончелей на наши мелодичные оклики, осенены тяжелыми портьерами кулис. Там дышит огромный темный зрительный зал, там зеркала репетиционной умножают наши силуэты, мерно взмахивающие смычками, наши платья в пол, наши тонкие пюпитры, – а царит надо всем этим мой Маэстро, его рояль.

Это только подобие, я понимаю, это подобие жизни, а не она сама, – это искусство, это не настоящее... Но искусство-то настоящее. Во всяком случае, мы старались.

Это не будет длинная глава, потому что событий в моей музыкальной судьбе мало; но без этой главы моя жизнь совершенно точно была бы неполной, в ней было бы в десять раз меньше веселья и удовольствия. Или – как правильно сказать – меньше красоты?.. Должно быть, так. Однако самое начало было сомнительным: в музыкальную школу отдала меня мама, обманом. Я, по ее версии, нестерпимо завидовала детям из детсадовской группы, которые, достигнув семилетнего возраста, получили на майском утреннике в подарок тонкие коричневые портфельчики и буквари и собрались в школу. Годом моложе всех (в садик меня запихнули двухлетней, подговорив попросить разрешения у самого министра образования), я не могла уразуметь, как же так: они поступают в школу, уходят, а я еще вечность буду дожидаться следующего лета?! И мама подсунула мне идею: пойти учиться играть на пианино в *тоже* школу, *даже еще лучше*. Кроме портфельчика и настоящей коричневой формы с двумя фартуками у меня будет еще нотная папка, нотная тетрадь и пенал.

На вступительном экзамене мне поставили «абсолютный слух», к маминemu изумлению: она слышала, что пела я фальшиво. Наталия Адольфовна объяснила маме, что одаренный ребенок просто точно копировал исполнение ребятками в садике детских песен, и настойчиво посоветовала отдать меня не на фортепиано, а на скрипку.

Школа была очень хорошая, с традициями, совсем маленькая: располагалась в усадьбе Баратынских, и их гостиная служила концертным залом (а во флигеле потом мы собирались на «Шеровские философские вечера». Приятно же: «Третьево дни, князь, у Баратынских преотменнейший шоколат подавали»). Руководил школой поразительно талантливый, самоотверженный, интеллигентнейший Рувим Львович Поляков: его уроки я могу сравнить только с теми несколькими репетициями, которые провел с нами Рахлин.

И директор, и его правая рука, Наталия Адольфовна, меня, в общем-то, ценили. А моя основная преподавательница – нет. Сольфеджио не представляло для меня сложностей, музыкальная литература тоже, хор и ансамбль я любила. Исполнительское же мастерство мое было весьма несовершенным, особенно я боялась уроков фортепиано. Кажется, только раз за восемь лет я удостоилась настоящей похвалы настоящей серьезной скрипачки, чье слово было законом для всей школы, – за исполнение одной из сонат Генделя. Остальное все было по – детски неровно, неакадемично (я и сейчас слишком резко меняю оттенки и позиции), словом, слабо. Слух слухом, но ведь еще и очень подолгу репетировать надо! В музыкальное училище я все же поступила – и ушла. Через год, жалея об этом шаге, вернулась в школу, подготовила новую программу с другим педагогом, – как и Рахлин, он был одним из богов музыки, и не будь его, я бы никогда не поняла, что такое игра на скрипке... Но на этот раз в училище меня уже не взяли за несерьезность, ибо никто и никогда по своей воле от Бурдо, попав в ее класс, не уходил. На следующий же год я заканчивала среднюю школу, и родители сочли, что путь из нее – в вуз, то есть вперед и выше, а не обратно.

Когда угроза обязательной школьной программы отступила от меня, а по прошествии пяти лет и вовсе забылась, – совершенно случайно, и я уж не помню точно, при каких именно обстоятельствах, в мою жизнь вошел Маэстро.

Тогда я была аспиранткой университета. Наверное, просто где-нибудь увидела объявление о наборе в струнный ансамбль и пришла. И началась прекрасная жизнь, прекрасная, прекрасная, какие бы недостатки в нашем исполнительском искусстве вы не обнаружили. Все мы – восемь – десять скрипок и три – четыре виолончели – были счастливы воскресными репетициями в дискомфортном угловом здании сразу при входе в университетский двор, справа; радостно взволнованы перед любым концертом и страшно горды после него.

Ансамбль звался «Камертон». Иногда его состав несколько увеличивался за счет профи, с училищем и даже «консой» за спиной, особенно если предстоял важный концерт. На рядовых же репетициях присутствовал рядовой состав таких же, как я, исполнителей, имеющих лишь школьное образование. Маэстро всегда выбирал вещи, которые были «на слуху» и у нас, и у публики: Моцарта, Россини, Гершвина, иногда какого-нибудь отечественного композитора. У нас была концертная одежда; иногда я даже надевала парик с короткими каштановыми волосами, устав от своих кос.

Маэстро Таюрский, дирижер и концертмейстер, всегда был у фортепиано и во многих вещах солировал. Строго говоря, он преподаватель кафедры общей физики в университете. С неделю назад один студент физфака повторил о нем старую шутку: это лучший физик среди музыкантов и лучший музыкант среди физиков. Совершенный структурно, сей афоризм почему-то задел меня. Маэстро Таюрский настоящий музыкант, он может жить музыкой, уходить в нее, уводить за собой и нас, и зрителей. Но это еще и необычайно колоритная персона, яркий, высокий, полный красавец, – Стива Облонский, звучный голос с эффектными интонациями, барственная манера, ничего мелочного, сибарит и эпикуреец в наивысшей мере. Меня он очаровывал, особенно потому, что после каждой репетиции, приходившейся на воскресенье, водил меня и первую скрипку Славу Сапегу в кафе, пить шампанское. Эта милость, это особое отношение возвышали меня в собственных глазах необычайно: Слава играл лучше нас всех, он закончил музыкальное училище. Я не очень доискивалась, зачем и почему Маэстро это делает, и была удивлена, когда через пару лет после начала (к этому времени Слава уже женился на одной из наших виолончелисток и уехал почему-то в Умань) он неожиданно с досадой выговорил мне: «Ах, куда же ты смотрела, моя милая? Не я ли старался поближе познакомиться с вами!»

Но я не верю, что это и было причиной наших воскресных радостных и говорливых возлияний в «Отдыхе», университетском кафе. Они были приятнейшим препровождением времени сами по себе, безотносительно к каким-то смешным маленьким интригам добрейшего Маэстро.

Играла я обычно вторую партию, редко – первую, иногда – альтовую. Сегодня я думаю, что серебро и есть мой настоящий эквивалент, моя цена, и не только в виде партии второй скрипки, а вообще во всем. Но это не важно; а впустилась я в эти разговоры ради одного эпизода: Как мы Играли на Концерте в Честь 25-летия Международной Ассоциации Университетов. Это было в 1975 году, в Москве.

Тогда я впервые вошла в здание МГУ, корпус «В», шестнадцатый этаж. Там мы жили две недели, пока шли репетиции. Время на них нам выделили почему-то ночное: с половины девятого до половины одиннадцатого; это сразу окрасило всю поездку несколько воспаленным весельем заговорщиков. В один день все почувствовали себя бывальыми, заматерелыми, выдавшими виды гастролерами, что проводят все ночи без сна, служа святому искусству, Бахусу и Венере, царя в голове не имеют, но без ума любят музыку и так же преданы своему Маэстро.

Кажется, МАУ (IAU) впервые праздновала свой юбилей в Москве и вообще в России. Страна призвала для заключительного праздничного концерта своих лучших студентов, аспи-

рантов и преподавателей, самостоятельно осваивающих все виды искусства, включая балет, пантомиму, скрипичную игру, фольклор, etc., etc. Из осторожности почти все гигантские самодеятельные коллективы были подкреплены, и так – таки, знаете, нешуточно подкреплены исполнителями-профессионалами. Но не мы! Среди нас не было никого с консерваторией за плечами и лишь два – три человека с училищем. На конкурс надо было представить десять вещей. Отбирали две.

В то лето умер Шостакович, поэтому комиссия сразу спросила нас, что мы играем на злобу дня. У нас был «Гавот». Он не прошел; взяли «Романс» из «Овода», который играл тбилисский скрипичный ансамбль: очень хороший, сильный состав, сыгранные, все с «консами», все в безропотной собственности у своего Маэстро Отара. Единственный, кроме нас, струнный ансамбль ото всего СССР. От России шли мы, Казанский Университет.

Нам оставили «Аве Мария», не Шуберта, а Гуно – Баха, и одну татарскую простенькую вещь, забыла название. Ее потом после Генеральной, когда провели хронометраж, тоже сняли: на каждый номер давали четыре минуты.

Репетиции шли в балетном классе; зеркальные стены, станки, пол какой-то особенный... В те две недели никто из тысячи артистов, кажется, ни часу не спал. На заре смотришь вниз с шестнадцатого: прибалты играют на кантеле, танцуют; ночью вернешься в номер – на весь этаж гитары звенят, молдаване поют... Днем побегаешь по городу, насмотришься выставок, музеев, устанешь, – зайдешь в корпус «Ж» к таджикам; ах, какой у них барабанщик был... Тогда я убедилась вживую, что ударник сам по себе готовый оркестр, чудо исполнения. С тбилисским ансамблем, понятно, мы очень сблизилась. (Поразило меня, что девочки – грузинки и армянки своего первого скрипача, каковым я была на много лет очарована, звали безо всякого пиетета просто Юрка, а девочки – таджички своего ударника, маленького, носатого, щуплого – нежнейше «Мишенька»).

Самого концерта я, например, очень стала ближе к делу бояться; в зале ректоры 90 католических университетов со всего мира, у них «Ave Maria» несказанно на слуху... и вообще... контраст с тбилисцами, заметный довольно – таки... короче говоря, само исполнение я постаралась забыть. Сцена огромная, партнеров я перестала слышать, правая рука не разгибалась в локте; все дело спас рояль Маэстро, он экспансивно солировал, а мы тихо молились, что, в сущности, и требовалось. Потом мы покорно убрались со сцены. А вот тбилисцы – следующий за нами номер – отыграв «Овода», дерзко никуда не ушли. Взмахнул Отар, они опять подняли скрипки и упрямо свою национальную вещь, тоже после Генеральной репетиции снятую из программы, так – таки и исполнили. Называлась она «Шутка»; короткая, темпераментная и злая. Молодцы. Сейчас вспомню в честь Отара свои старые стихи о своем грузинском женихе. Его имя напоминало индейское слово «Солнце», поэтому – «Мзиури» («Солнечному»).

* * *

Как воспою хвалу тебе, Мзиури?
Ты сладостный, как отзвуки чонгури,
Ты радостный, как ясный блеск в лазури,
Ты гордый, словно пенная волна.

Как сверстники, прекрасен ты и строен,
Как прадеды, охотник ты и воин,
И та любовь, которой ты достоин,
Поверь, ещё на свет не рождена.

После этого раза я на всю жизнь полюбила МГУ – а на сцене стала появляться все реже. Но странным образом, наперекор моей воле и даже моему страху – скрипичные мои данные наследовал младший сын.

(Для меня же всё кончено: мою скрипку месяц назад загубили).

* * *

Мы оставляли. Нас оставляли.
Время – Пространство вила Сингулярность.
Встречи не ждет Фредерик на Полярной.
Мы умирали. В нас умирали.

Кто ещё веровал так безоглядно?!
Замерший взрыв сродни постоянству.

Сладким свадебным запахом яблонь,
Призрачным ливнем – останься, останься!..

Мастер, оставь. Пощади мою веру.
Этим сонатам не повториться.

Пусть в непроглядный бархат футляра
Смуглая скрипка навек удалится.

Это конец. Дилижанс в преисподнюю.
Мастер, ты юность похитил у скрипки!

Мать – Природа, оставь мне Сегодня!
Завтра откроется тайна эклиптики.

* * *

Так. Все, что в этой главе написано, не нравится мне. Не хочу больше писать ни слащаво, ни приподнято, – я ведь, в сущности, притворяюсь, невесть зачем заставляя читающую публику поглощать эти политые сиропом страницы. На самом-то деле я сижу с перекошенным лицом, температурой, головной болью, – недавно выдрали мудрый зуб, и до того как-то антихудожественно, что даже дали больничный на три дня; хирург сам испугался своих итогов. Напишу лучше иронические стихи. Безотносительно. По настроению.

Прости меня, приятель. Я недавно
Нелестно отзывалась о тебе.
Мой слушатель был мой герой заглавный:
То мой кофейник, древний, как Тибет.

«Ты – ужас мира», – мне сказал приятель.
(И чем я так ужаснула его?)
Создатель сотворил меня некстати

Для дела своего – и моего.

Одно я знаю твердо: вероломство
Есть моя верность, верность *мне самой*.
«Но мы старинным связаны знакомством»...
Прости меня за грех, приятель мой!

Итак, на самом деле я никакой не музыкант. Музыкант будет мой младший сын. А впрочем, храни его от этого бог: экспансивная, завистливая, вздорная, страдающая, пьющая, кочующая, не слишком счастливая нация. Зато пока я, мрачно таращась в угол, хрустя позвоночником, как вязанкой хвороста, сижу в предбаннике музыкальной школы, часами и годами ожидая, когда у ребенка закончится сольфеджио или квартет, – я твердо знаю: за эту невероятную трату времени, за это самоубийственное сидение и бессмысленное пяление в угол коридорчика, за эти походы в музыкалку сквозь дождь и мокрый снег, по жаре и грязи, рядом с сыном, – за все это меня на Страшном Суде не накажут. Нет, не накажут. Это каким-то непостижимым образом хорошо и правильно.

Все же самым смешным и человечным был начальный, первый эпизод его музыкальной карьеры. Мама, зная мое отрицательное отношение к тому, чтобы еще и Булата загнать в музыкалку, проделала это сама, и так же почти обманом. Она дождалась, пока я уехала в научную командировку в Саратов, отвела малыша в приемную комиссию, а потом и на экзамен. Слушайте же. Дитя старательно прохлопало ритм, проинтонировало сколько-то интервалов, угадало количество звуков в аккорде, а потом было попрошено «что-нибудь спеть». Оказывается, мама ничего с ним не подрепетировала. Дитя сделало заявку не на что-нибудь, а на «Песню о Щорсе». (Интересно, кто-то сегодня еще умеет ее петь?) Комиссия поразилась, одобрила; тогда дитя отхватило еще «Крейсер Аврора». Комиссия переглянулась, выпрямила спины; а пел мой Булат, надо сказать, очень хорошо и чисто: он подпевал моей колыбельной песне еще до того, как научился говорить.

Мама рассказывала потом, что после такой распевки он предложил жюри спеть еще одну вещь, на бис... Это был Гимн Советского Союза. Комиссия встала. На другой день фамилия моего сына в списке зачисленных в музыкальную школу, хотя она и начинается с одной из последних букв алфавита, стояла первой. Ему поставили абсолютный слухи определили в класс к замечательному педагогу Юрию Георгиевичу Максимову.

Через год обучение закончится. Что потом с ним делать – именем Бога живого, не знаю. Понимаю, что обязана знать; обязана дать совет и взять на себя ответственность; судьба Булата – главный (второй главный) вопрос моей жизни... И не могу. Не знаю. Может быть, оставшийся год что-то прояснит; может, он сам сделает выбор; может, я куда-то качнусь... Пока знаю точно только одно: во всем нашем семействе настоящий, урожденный музыкант – один.

И настоящий урожденный писатель – один. Старший мой сын.

И настоящий урожденный ученый – один. Мой папа.

* * *

P.S. Скажу еще, что со временем Булат стал предпочитать скрипке гитару, отчасти подражая старшему брату. Зато я горжусь, что со мной он занимался домашним музицированием: мы были хороший скрипичный дуэт.

P.P.S. Композиторские же наклонности проявляет не младший, а старший сын: вместе со своим – моим – приятелем под условными сценическими именами Simplex Corda и van der Priest они написали уже несколько концертов (теперь говорят «проектов»), и в них есть песни настолько несомненные, говорящие и чувствующие, что я на полном основании могу

рекомендовать их публике. Однако электронное исполнение требует студийной записи, а это для них невозможно. Так просто! Так драматично! Ты не можешь петь для публики свои песни, потому что нет инструмента, на котором должно происходить аккомпанирование. Поэтому их исполнение в гитарном, домашнем варианте слышали лишь близкие друзья. А это совсем не то, что моим парням требуется. И вот – четвертый проект, но будет ли пятый? Нет синтезатора. Нет – как нет.

Насколько же свободнее тот, кто владеет, в обоих смыслах этого слова, своим инструментом!

...В последний раз мы с Маэстро Таюрским выступали на празднике 8 марта пару лет назад. И когда в ответ на аплодисменты я, в золотом наряде, поднимала к опаловой люстре смычок и скрипку, Маэстро раскланивался из – за рояля, Господин ударник позвякивал по тарелке, и приседала, отводя руки назад, певица, – я чувствовала самое настоящее, чистое и незамутненное счастье.

Глава VI. Сага об оппоненте

Должно быть, в то время он был еще молодой. Только при встрече мне так не показалось. Я много долгих лет искала этого человека.

* * *

В те поры, когда он быстро и уверенно шел к докторской мантии и профессуре, я, поколебавшись между музыкой и языками, подпала чарам диалектики и теории познания. Мой Учитель философии до самого курсового экзамена ничего обо мне не знал: на лекциях я пряталась от его мечущих голубые молнии глаз и лязга обвинительного голоса за колонну в Круглой аудитории, а семинары у нас вел совершенно противоположного стиля и ума человек.

Сейчас попытайтесь представить себе студента, который, обнаружив, что день его курсового экзамена по философии совпадает с датой отъезда за границу, – не моргнув глазом, не перенес бы сей экзамен на пару – тройку дней пораньше и преспокойно не уехал бы в свой варшавский тур. Непредставимо? Для меня же тогдашней – именно подобная наглость обращения к божеству с целью нечто выгадать была непредставимой. В голове не существовало места для этой неслыханной мысли. Мало того, я и Марине не дала уехать; или, может, она из солидарности осталась со мной на экзамен; счастье, что ее могущественная «жинги»

Вера Боговарова поменяла нам Польшу на Румынию, так что за границу мы в те сложные годы благодаря ей все же попали. Неделей позже.

На экзамене, пока я с подъемом и благоговейным страхом рассказывала о Фейербахе, Учитель сидел, опустив голову, не глядя мне в лицо. Бритый череп, орлиный нос... Вдруг движение – и прямо в душу мне глянули нестерпимые глаза, сурово зазвучал медленный голос: «Почему Вы в течение года не ходили ко мне на философский кружок? Вы обязаны были ходить!»

Слыхом не слыхав ни про какой философский кружок (он был не на инфаке, а на истфил), я, как умела, изобразила, что, мол, – да господи, царица небесная, всенепременно теперь буду ходить!.. однако я не попала туда, Учитель работал со мной индивидуально. Позже я поняла, что он – человек очень увлекающийся, занимался то бионикой, то литературоведением, то эстетикой Вознесенского, то импринтингом. Попалась я ему, вычислил он меня в период своего увлечения семиотикой. Дал задание написать реферат, назвал первые две книги. Когда студенческая эта работа (а я со всем жаром изголодавшейся по духовной пище неофитки, бросив учебу, засела в библиотеке) выиграла какой-то Всероссийский конкурс, Учитель окончательно поверил в меня.

В те дни и начался долгий поход к Оппоненту, который ни сном, ни духом не видал меня, учась в своем Ленинграде, разъезжая по Канарским островам, строя отечественную гносеологию. Не знал, что я месяц за месяцем иду к нему: просиживая вечера на опустевшей кафедре философии, где добрая Ляля Сафовна отдавала мне ключи от книжных шкафов; ломая голову над тезисами конференции «Язык как система знаков особого рода», прошедшей в Тарту, пока я была еще школьницей, или над абзацем о теоремах Гёделя о неполноте в книжке пера московского ученого А. Г. Волкова, первого лингвосемиолога советского периода.

Диплом я защищала на обеих кафедрах: философии и английской филологии; через два года поступила в аспирантуру – и тогда мне разъяснил теоремы Гёделя самый умный и перспективный из нас, физик по образованию и наследственный философ Валентин Бажанов. Он защитился оба раза раньше всей нашей аспирантской группы и стал профессором до своих сорока лет. Другие наши ребята тоже сегодня почти все с докторскими; двое из них стали потом моими рецензентами, а когда-то мы вместе учились в школе, и к ним я испытываю дружескую

приянь, those old school ties, you know, хотя тесно мы и не общаемся. А еще один, высокий, с усиками, кудрявый брюнет, пятью годами старше, нисколько не замечавший в аспирантуре моего существования, сегодня мой любимый шеф, зав. каф. философии по пединституту.

Толком подружились мы с ним лишь в институте повышения квалификации при МГУ, куда оба попали в один срок: он (тогда) от энергоинститута, я – от педагогического. Жили на родном шестнадцатом этаже, ели и пили из одной, можно сказать, миски, образовали там татарское землячество из восьми человек, включая дружественные приглашенные лица. На сегодняшней нашей кафедре, не считая моей молодежи, шеф – единственный урожденный философ, настоящий книжный червь и интересный лектор. Он из старинной просветительской семьи. И главное, Камиль Хасанович чистейший, честнейший человек, без тени подобострастия по отношению к какому бы то ни было «начальнику», и по – прежнему красавец и гусар. И поэт. А занимается он космологией. При всем том человек не самой радостной судьбы. Я часто ощущаю в нем брата, которого у меня не было, и который был мне необходим.

Возвращаясь к аспирантуре: поступление туда, кроме склонности к анализу, действия авторитета Учителя и родителей, восторга перед красотой философских вопросов, имело еще одно обоснование: я стремилась попасть туда, где нет или мало глупых, невежественных людей. Социум представлялся мне пирамидой, где в основании – огромное большинство кретинов (я же читала Эразма «Похвалу глупости», помнила сентенцию Стругацких: «Поскольку дураков на свете абсолютное большинство, постольку всем историческим событиям свидетелем был именно дурак». «Поэтому любой миф – это реальный исторический факт в восприятии дурака и в изложении поэта». И еще мама всегда повторяет: «Почему-то я люблю *умных* людей»), – а наверху малое количество интеллектуалов. Это *свои*, Республика Ученых. Это мое мнение оказалось ошибкой, вернее – на любой ступени, которую со временем осваивает человек, пирамидальная пропорция разумности сохраняется: соотношение интеллектуалов и глупцов один на семьдесят. (Семь тысяч? семьдесят тысяч?..) Ошибкой идеалистического направления оказались и мои сократовские представления о глупости как о единственном зле и о разуме как о единственном виде добра. Есть хорошее речение: «Презирай глупость, если она не добра». Если добра, не презирай... Но в то время я думала иначе, я хотела оказаться «среди своих».

Ну и – еще одна причина: за двадцать с лишним лет так называемые люди здравого смысла не ответили ни на один мой важный жизненный вопрос, хотя и дали много ответов насчет того, о чем их никто не спрашивал. Не я, во всяком случае. Стало быть, надо было найти других людей, в другом стане – среди тех, кто способен видеть нестерпимый свет Истины, среди людей, ушедших из Пещеры.

И вот я стала приближаться к центральной ритуальной фигуре: человеку, который должен был сыграть основную, эффектную роль в обряде посвящения меня в ученую даму. Я стала искать моего Первого Оппонента.

Может быть, вы думаете, это входило в обязанности моего научного руководителя?.. Ха. Может быть, и входило.

* * *

...Я рисовала себе его образ, когда, устав от занятий, поднимала глаза на белые статуи в холодном, бледном и зеленом зале московской библиотеки. Я мчалась безумным мотогонщиком по спирали цирка, думая, что, может быть, Он сам, там, среди зрителей, увидит и оценит мой полет. Я фантазировала даже, что, возможно, Он... дама?! Вспомните подобную дерзкую гипотезу относительно того, кто скрывает тайну Эдвина Друда!! И я мчалась в ЛГУ к Марии Семеновне, авторессе книги «Философия и язык», чтобы рискнуть, попробовать – вдруг это мой Первый Оппонент? Ведь семиологов на мой вкус в России было на тот момент всего трое... Были, правда, еще два ереванца, еще вся тартуская школа, но – разве согласятся они оппони-

ровать провинциалу, девочке, куда-то ехать для этого чуть ли не в Сибирь... Был еще В. В. Ким в Свердловске, но он же «функционалист», это действительно – противоположный стан. А ну я ему не понравлюсь – и сведет в нети?.. (Сейчас-то я знаю, что *не* не нравлюсь, но ведь с тех пор двадцать лет ушло).

Прекрасная Мария Семеновна, обняв за талию, водила меня по длиннейшим старым коридорам ЛГУ, шутила, смеялась, оба яла доверчивую душу как ни одной женщине не удавалось, – согласилась прочесть работу – семь месяцев я ждала рецензии – получила частное письмо с рядом строгих, умных советов и отказом оппонировать – потом узнала, что в результате каких-то дворцовых интриг Она вынуждена была уйти из университета в Горный, что ли, институт... Откуда знаешь *их* подводные течения?

Так. Дубровскому я не понравлюсь, хотя непонятно, почему. Коршунову тоже, Ветрова не любят, Резников уже умер, Мантатов не поймешь где и тоже «функционалист».

Вслед за мыслью о Москве я отбросила мысль о Ленинграде. Ни на Ереван, ни на Тарту, ни на другие столицы у меня не было денег. Поехала наудачу в Пермь, знакомиться с Гавриным, – тоже философией языка занимался, – и тоже «черная лошадка», не любит его Орлов. (Сейчас уже не знаю, где он). Отправилась с отчаяния к профессору Аскину: центр Поволжской науки тогда был в Саратове, в Казани же диссертационного совета, тем более на мою тему, не было. На мою тему – и теперь нет.

(Сейчас подумываю: а почему бы ради своего наследника не создать такой совет у себя в институте?.. Гораздо удобнее было бы ему, чем мне в своем 75-м году... Только вот – не избалую ли я его чрезмерным удобством? Надо подумать).

Яков Фомич как-то сразу принял диссертацию к защите. Могущество и слава его были очень велики; я надеялась, что Первого Оппонента он найдет мне сам? Может, можно хотя бы не доктора наук, кандидата-то легче подыскать?..

Нет, сказал Председатель Совета, это несолидно. Первый должен быть доктором. Поезжайте в Самару (тогда говорили Куйбышев), к Борисову. Ему эта проблематика подойдет.

Зигзагом я бросилась в Куйбышев... Как вы можете догадаться, нечто должно было произойти. Нашла университет, взобралась на пятый этаж... Вот его кафедра...

...Как, Вы ничего не знаете? – сказали мне. – Позавчера у Вадима Николаевича случился инфаркт. Да – да. Ну, где-то через полгода...

Не буду для красного словца писать, что была близка к тому же самому, то есть к инфаркту. Мой дух весьма укрепился в настойчивости. Не раз и не пять я попадала в ситуацию, когда была вынуждена вести себя как цыганка, хотя именно навязчивость – порок, которого у меня от рождения не было. «Извините, разрешите мне представиться Вам. Эмилия Тайсина, Казанский университет. Да, аспирантка, да... Зная Ваши работы, рискую попросить Вас: не пожелаете ли, не найдете ли времени, нет ли возможности... Как Вам будет угодно – отзыв, рецензию, неофициальный, официальный, несколько устных замечаний хотя бы... Тема?.. Тема редкая, к сожалению... А может быть, все – таки?.. Нет времени?.. Не Ваша тема?.. Простите, а вот хотя бы по поводу одного параграфа, заключения, одной важной идеи... Извините, Бога ради... Да, да, все понимаю...»

Странствия мои, наконец, привели меня в Свердловск. Хотя я и побаивалась Кима, все же решила обратиться к нему. В конце концов, Оппонент ведь действительно – противоположная научная позиция! Если согласится, – по чести обменяемся теориями; правда, он еще не доктор, но Ким есть Ким, Саратов должен меня понять!

...И тут Свердловск собирает Всесоюзный симпозиум «Логика научного поиска».

...!

Едем с тогдашним шефом Иваном Ивановичем Гришкиным в Свердловск. Я почему-то наряжаюсь, темно – оранжевое платье, кружевные манжеты, джинсы – побоку. В посвисте поезда слышался оклик Судьбы.

* * *

Перед пленарным заседанием, когда съехавшаяся со всех концов публика заполняла большой зал, шеф быстро отыскал своих ленинградцев. Я познакомилась с Борисом Марковым, Лапицким, Федоровым. В какой-то момент к нам полуобернулся еще один их общий знакомый – рыжеватый, веснушчатый, пожилой, как мне показалось, человек. (Боже мой! А ведь ему даже сорока лет не было, наверное!) Шеф представил ему «своего молодого ассистента», то есть меня. Рыжеватый отнесся благосклонно, были какие-то быстрые фразы, а потом вдруг по наитию Иван Иванович задал вопрос о возможности оппонирования.

Его визави мгновенно отбросил улыбку и студенческий сленг, лицо его застегнулось, и он официальным профессорским тоном ответил, что может подумать.

Да, это был Он, хотя в момент знакомства мы оба еще об этом не догадывались! Но Сага далеко не завершилась в тот день, и согласия быть моим Первым тогда Он еще не дал. С Кимом мы тоже на том симпозиуме увиделись, но сделать попытку сесть на два стула я не решилась. Ставка была сделана, господа и дамы. Дамы и господа.

Теперь, когда я ясно представляла себе Его облик, знала содержание основных трудов, слышала речь, видела Его окружение, мне стало проще: путь был спрямлен, улыбка удачи мерещилась за морщинистым ликом безучастного дотоле Времени. Легко сказать сейчас: я писала диссер четыре месяца. Я почти четыре года шла потом к защите.

Вот следующая сцена разворачивающейся Саги: Москва, Министерство Образования, знаете, на Чистых Прудах; Зал коллегий. Мы собрались на Совещание Заведующих Кафедрами Общественных Наук. Иван Иванович послал меня, как своего зама, зная, что там непременно будет и мой потенциальный Первый. Вдруг я исхитрюсь его уговорить!

Объективно сказать, аргументов «против» для Него было много: провинциальная малышка, защищается в провинции же («в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!») – и время было для Него неудобное, предстояла заграничная поездка, и средств, чувствовалось, затратить больших я не могла... да и тема, батенька: роль символизации в познании, да в научном, да в современном! Бог знает, что там наколото и нащепано. Иностраннных источников многовато. И с ленинской критикой теории символов не вполне согласовано... Словом, некогда читать, извините, душечка. Просмотреть?.. Да тоже, знаете ли...

Может быть, у Него были и не такие мысли, но уж, наверное, подобные. Были же они у моего научного руководителя.

Тогда я еще не преподавала логику, и воззвать к ней мне было трудно. Я воззвала к психологии.

– Вы – моя надежда. (В скобках: последняя). Пожалуйста, не отказывайте мне сразу; я знаю, что Вас интересуют сходные темы: наглядный образ в структуре познания, разница референциальных уровней феномена значения; Вы – один из ведущих методологов (в скобках: хотя и живете в провинции, пардон, конечно же, мне непонятно, как Вы туда попали, и, разумеется, столицы тянут Вас к себе обратно); Вы проницательный человек: я не отступлю. (В скобках: взгляните на меня попристальнее!) Я на всю жизнь, если получу Ваше согласие, останусь Вашим должником. Вы ничего не потеряете; я обеспечу быстрое и неутомительное путешествие, а Саратов, кстати сказать, прелестный город! И всех трат – три дня. А там в Германию!

– Гм. Вообще говоря, это довольно привлекательная мысль: иметь Вас должником на всю жизнь.

– Вот видите, Вы уже рассматриваете меня *не* сурово!.. Прошу Вас, возьмите мою работу с собой в гостиницу, завтра на секционном заседании вынесете свой вердикт.

– Гм. Нет, лучше Вы привезите мне свой текст. Вечером. В гостиницу, сейчас мне неудобно.

– ...Хорошо... конечно...

Началось пленарное заседание.

А вечером в гостинице Украина, на 15 этаже, куда, как вы знаете, не доходит лифт, разыгралась центральная, решающая сцена. Она имела темп, блеск и комизм водевиля, и я заранее скорблю, что мне не удастся адекватно описать ее, – это надо было видеть и слышать.

Хозяин номера приготовился по всем правилам наших игр принять меня. Но начатую беседу прервал телефонный звонок. Нехотя подходил он и нехотя брал трубку; – Да? – и тут же на лице написались легкая досада и легчайшая польщенность, патинированные скукой.

Ничего не значащие пол – разговора, трубка водружена на место, и следует доверительная жалоба: ах, как это, в сущности, мне надоело! Чего бы я не дал, чтобы избавиться от... одной особы...

Простите, проверяю я свои слух и догадливость, Вы имеете в виду... Имеете ли Вы в виду, что в таком случае Вы бы пошли мне навстречу... И Вы действительно многое готовы обещать, лишь бы кто-то мягко и аккуратно... Уау! Да я, я тот человек, который немедленно поможет Вам избавиться от того, от чего не позволяют Вам избавиться хороший тон, привычки спортсмена и природная вежливость, то есть от *одной особы!*

Вдохновенно и лихорадочно подтасовывается декорация, я распускаю волосы, грозно свожу брови и превращаюсь в корсиканку Роситу, цыганку Азу и ревнивую Амнерис одновременно, однако с кавказским акцентом, подделывать который не просто, но и не сложно. Цойс, Zeus, трудно ли это для меня, затесывавшейся впоследствии кубинкой в кубинские ряды и турчанкой в спесивые немецкие и эстонские когорты в их родных мызах и Doerfen!

Да простит меня та, ничего не подозревавшая, веселая и легкомысленная московская бабеночка, почти девочка, просто – напроосто хотевшая иногда хорошо провести время с заезжим профессором, не строя (возможно, что и не строя) никаких далеко идущих планов! Легкий ужин, бокал вина, может быть, прогулка... а тут на тебе!

За три минуты исполнения зловещей своей роли изгнав неосторожную из своего домена (ти што, дэ – вушка, аткуда взялся? Я еду – еду две тищ ч'ломэтров, а ти што здэсь дэлаэш? Ну – ка, дарагой, давай, правди дэвушкку вниз, закажи ей столик, пуст па – ужинаэт, а патом дай ей на такси!), я подождала, пока, провожая, Он дойдет до площадки между 14-м и 15-м этажами. Мстительно шагая, я вышла следом и, подбоченясь, спросила сверху: «Сколка нужна врэмэни, штобы пасадить дэвушкку в лифт?» И ей – богу, они распростились мгновенно и, смею заметить со смирением, – слегка испуганно. Он пошел за мной обратно в номер.

– Ну, Ты даешь, ну Ты и даешь!!

– Так Вы согласны мне оппонировать?

– Да, черт возьми, согласен.

Дальше мы смеялись, и, смеясь, расстались, а встретились уже на перроне в Саратове. С мамой (на первую защиту я ездила с мамой, на вторую с сыном) мы проводили Его в гостиницу, и она потом вспоминала, что на Нем была теплая, не по сезону, шляпа. На защите Он сказал, что нашел мою работу хорошей и сильной. Через пару лет через третьи руки я узнала, что Он посчитал ее слабенькой и серой. Каково Его истинное мнение, я до сих пор не знаю. Самой мне спектакль понравился (я имею в виду защиту), и я старалась. Публика не хлопала, думаю, лишь потому, что ритуал не позволяет. Хлопают только в конце, и только члены Ученого Совета: поздравляют новорожденного кандидата в люди.

Или доктора.

На второй защите, когда подошел этот момент, – Председатель объявил, что теперь уже можно поздравить коллегу с высокой степенью, – признаюсь, я расчувствовалась.

И теперь кода: на второй защите моим Первым Оппонентом был Валентин Бажанов, тот блестящий юноша, годом моложе меня, который, когда мы пришли в аспирантуру, объяснил мне смысл теорем Гёделя о неполноте. Большая система всегда открыта; ее основные, базисные понятия собственными средствами, то есть средствами данной теории, не *эксплицируются*.

* * *

В холодном, бледном и зелёном зале
Рождественские люстры все в пыли,
И гипсовыми, белыми глазами
Со стен взирают мудрецы земли.

Усилия фаланг мужей учёных,
Зевки и кашель, плеск сухих страниц...
Здесь дамы одиноко – непреклонны,
И немочь бледная с мужских глядится лиц.

Ковёр заглушит шарк ноги проворной:
Уйду на свет и помолюсь о том,
Что бой богов в их головах упорных
Отнюдь обычным людям не знаком.

Глава VII. Эпоха каратэ

У меня, с виду кажется, много жизненных достижений: твердое место на кафедре, добрый молодой муж, два прекрасных сына, две степени, квартира и что там еще... Но никогда, никогда и ничем в жизни я не гордилась сильнее, чем одним незначительным эпизодом: это было, когда тренер (он не разрешал величать себя ни сэмпаем, ни, тем более, сэнсеем) дал мне указание бить тройной маваша. По мячу, втиснутому среди брусьев шведской стенки. То есть, все мужчины в группе били одинарный, а мне – мне одной! – он разрешил бить тройной. Однако по порядку.

Это случилось в начале лета. Я уже была молодым кандидатом наук, и поэтому не удивилась, когда коллега попросил меня помочь одному его знакомому написать план диссертации, парочку статей и пр. Вернее, сказал он так: «Эмилия, тебе нужен ученик?» Я подумала, что речь пойдет об уроках английского, и отказалась. «Ты не поняла еще; тебе нужен ученик в твоей области, в семиотике?»

Я потеряла дар русской речи. Потом, обрета его, почему-то сварливо осведомилась, какое у этого потенциала образование, еще позволяет ли оно ему заняться семиотикой? «Образование у него будь здоров, – сказал коллега. – Филфак он закончил, МГУ».

Понятно, что я опять чуть не лишилась дара речи... Потом я спросила, каким образом мой коллега познакомился с упомянутым феноменом у нас, в Казани, и почему принимает в нем участие. Ответ воспоследовал такой: «А это мой тренер по каратэ». Это был уже нокаут.

Шел 1979 год. Посвященные понимают, что это значит.

Что касается меня самой, то об этой загадочной борьбе я знала одно: в ней бьют ногами. Это сказал мне муж. Еще тот, первый. Услышав, *кого* именно прочат мне в соискатели – ученики, он пал на колени и сказал: пусть он возьмет меня в группу. Пусть он возьмет меня в группу!! Сделай для этого все, что ему угодно, – сама напиши за него диссертацию, наконец!!! (Замечу в скобках, что тогда подобное занятие было совсем не так распространено, как сейчас. Диссертации часто писались самостоятельно. А сейчас появился такой анекдот: почему докторские диссертации хуже, слабее кандидатских? Потому, что докторские пишут кандидаты, а кандидатские – доктора).

Так в нашем доме появился Станислав.

Он вошел, мягко двигаясь, широко улыбаясь узким ртом и сияя сощуренными голубыми глазами. Невысокий и сильный, он держался необычайно вежливо, с полупоклонами и прижатием правой руки к левой груди. Наверное, к сердцу. Я потом переняла эту манеру, и след ее, быть может, и сейчас в моем поведении есть.

Сначала все же мы с ним по чести пытались заниматься наукой, – если не наукой, то, по крайней мере, научно – методической работой: я проверяла тексты его лекций (он преподавал русский язык иностранным курсантам в крупном военном вузе, который я и по сей день именую «маминым училищем»). Мы даже действительно составили план для его диссертации, придав ей семиотический уклон (с филологами это просто), и кажется, замыслили совместную статью... Шел ведь ставший знаменитым «лингвистический поворот». Таким образом прошло две недели; кончилась сессия, мы вышли в отпуск.

Все это время мой муж каждый день ходил на спортфак, на тренировки: группа, которую Слава набрал из наших пединститутских преподавателей гимнастики и легкой атлетики, временно распалась, разъехавшись на отдых, и он неожиданно легко взял моего мужа спарринг – партнером: они были почти одного роста и веса. В результате двухнедельных занятий муж по ночам вздрагивал так, что падал с дивана; все его мышцы, не привыкшие к растяжкам, страшно болели (в юности он был вольником, а эта борьба не растягивает, а закрепощает мускулы, осо-

бенно ноги), и ходил он крабом; однако доволен был сверх меры и, скажу сразу, сохранил верность своему первому тренеру, насколько я могу судить, навсегда.

Со мной же вышло вот что: я наконец-то заметила, что все научные поползновения Славишки весьма прохладны. Ничего этого он не хотел по – настоящему: ни защиты, ни публикаций, и я спросила его об этом прямо. Ответ был тоже прямой: «Знаешь, я и не собирался этим серьезно заниматься; это меня Валера (тот самый мой старший коллега по кафедре, которого я в жизни уменьшительным именем не назову – а со Славой ведь мы ровесники...), Валера уговорил. Напишешь, говорит, что-нибудь, а опубликуемся совместно, мне помощь, и тебе не повредит... У меня тесть в издательстве солидном работает. Я и сказал себе, дай займусь, чтобы потом не думать, что вот, была возможность, а я уши распустил, губы раскатал. На самом-то деле я буду наукой заниматься, когда мне будет за пятьдесят, и из меня будет песок уже сыпаться». (Сегодня я думаю, что он был прав).

Он специализировался в МГУ по романской филологии, знал французский язык, учился в семинаре у Рождественского. По его словам, лишь случай не позволил ему уехать работать за границу. Телохраниателем, а не профессором филологии. Украинец, он женился на татарке (в детстве та училась в школе вместе с моей сестрой, а также с будущей женой моего бывшего жениха – грузина, которая сейчас вышла за англичанина и уехала; черт побери, сложно все!), познакомившись с нею на своем московском филфаке, и приехал в Казань. И пошел на работу именно на ту кафедру, которой заведовала моя мама; но она уже оставила к этому времени должность; так эта примечательная личность, каратэка «с судьбой», и внедрилась в наши круги.

Приглядываясь ко мне, Слава раза два заметил: «Вам бы надо заняться каратэ. И сложение, и реакция...» В ответ я сильно смеялась. Спортом я не занималась ни когда в жизни и никаким; то есть, у нас были у рок и физкультуры в школе и в институте, и давным – давно, в детстве, папа учил меня кататься на лыжах... еще я любила бегать и плавала легко; но каратэ?!

Сказав, что члены группы, с которыми Слава занимался ко времени нашего знакомства уже восемь месяцев, летом ушли в отпуск, я забыла упомянуть, что иностранные курсанты из маминого училища, которые тоже в эту группу входили, разъехались не все. Например, вьетнамцы остались, и, кажется, часть европейцев тоже, но их я тогда еще совсем не знала. Вьетнам далеко, туда не наездишься. И многие из оставшихся тренировались у Славы по прежнему.

Как случилось, что я все же поддаюсь на его уговоры и пошла посмотреть – просто посмотреть на тренировку, как в цирк или в театр? Приманкой стал Фьонг. (Это по – вьетнамски «Феникс»). Он был только что с войны. Рекламная речь повествовала, что в тот день Фьонг покажет на тренировке какие-то специальные, редчайшие приемы против ножа и против пистолета, которых Слава – зеленый настоящий японский пояс – и сам не знал. И вот я частью из любопытства, частью со скуки, пошла поглядеть, что же такое может сделать малорослый и щуплый вьетнамец с вот таким вот американским солдатом, выскочив из родных джунглей, и... Короче, пошла за зрелищем. Еще, помню, вырядилась в цветное платье, вся в браслетах... А Фьонг-то и не пришел. Он в тот день заболел. И я посмотрела обычную, рядовую трехчасовую тренировку с самым худшим, четвероградным составом, включавшим моего мужа и того самого Валеру. На них смотреть, разумеется, было нечего, разве что несказанный энтузиазм на лицах. Я посмотрела на самого тренера. И пропала.

Бог мой! И сегодня я помню тот восторг, озарение и страсть, которые тогда поразили меня. Балет – нет, это что-то очень грозное для балета, но так же красиво, и непостижимо изменчиво, и... Словом, это равно самой жизни.

Теперь уже я пала на колени и сказала: «Слава, как ты был прав!! Возьми меня и научи хоть чему-нибудь из этого! Я не смогу теперь без этого жить!!!»

Так началась самая счастливая эпоха в моей судьбе. Это было жаркое, прекрасное лето. Слава отправил жену отдыхать на море, а сам переселился к нам. Брезжил рассвет; мы уходили в соседние лесочки и овраги за грибами. Представьте на минуту ровные невысокие сосенки, на

паутинах жемчуга росы, золотые лучи рассвета дымятся и дышат над ними, а из – под низких веток вылезаю на четвереньках я; спина мокрая, в волосах сосновые иглы, как у ежа, а в зубах пакет с маслятами... Потом, дома, мы долго чистим и едим эти грибы, сколько-то отдыхаем и идем смотреть, по слову нашего Учителя, какой-нибудь немислимый индийский фильм – две серии черт знает чего ради одного удара, например, палкой по коленам. Шестом, я хотела сказать. То есть нет, посохом. Шаолинским. Потом – центр всего существования, святая святых, трехчасовая тренировка в спортзале. Потом – домой, отдых, музыка обычно, бесконечный чай, разговоры всю ночь, – и шахматы, как ни странно, – я ведь в них непозволительно плохо играю, при всем пиетете. Брезжит утро, пора за грибами... Я не помню, чтобы хоть одну ночь мы тогда спали. Слово тренера было для нас всем: политическим режимом, молитвой и наградой, непререкаемым наказанием и откровением. Дни тянулись, блестящие, пышные и однообразные, не утомляя нас, а все больше наполняя счастьем жизни. Мы везде были втроем, и непонятно, кто сильнее был влюблен в Славку – я или муж. Никогда потом больше мы не жили с ним так мирно, без единой ссоры, как в те полтора года эпохи каратэ, когда мы говорили только об ударах, блоках, ката и кумитэ. Это была наша вторая юность, второй медовый год...

Часто Слава приводил к нам в гости человек по двадцать вьетнамцев, тех самых. Они ходили вместе с нами по грибы (называя их почему-то по – чешски «грубы»). Потом сушили носки на моей ванне. Меры манер они долго не могли нащупать, и то снимали обувь еще на траве перед домом, то безобразно фамильярничали. Вообще-то нет, не фамильярничали. Просто могли попросить, например, займы рублей триста денег (сегодня читай – три миллиона) и обидеться отказом. Но впрочем, они были забавные и милые. Конечно, когда с каникул ближе к осени вернулись немцы и венгры, – с ними нам было легче.

Оборвалось наше летнее счастье внезапно. Вечером в августе в дверь раздался звонок, и на пороге возник огромный, барственный, милостиво настроенный Добровольский: физик, эстет, диссидент, флагман нашего мировоззрения, властитель множества душ. «Друзья!» – провозгласил он. «Прошу всех на Эфроса!» (У него был огромный цветной телевизор). Я завопила от восторга, а Славка... а Славка потрясающе быстро и просто раскланялся, распрощался и ушел. Позднее, в отчаянии расспрашивая себя, в чем дело, я предположила, что, может быть, мой тон радостного приветия, обращаемый к любому гостю – в том случае к Добровольскому – он считал лишь своей привилегией? Ушел он насупившись, это я помню... А может быть, ему просто за два месяца надоело у нас, он все услышал и понял, пошли повторы, он нас использовал полностью... Однако то был еще не конец.

Осенью группа восстановилась. Приехали другие курсанты; в кимоно было непонятно, кто они, какой нации, какого звания. Команды шли по – японски (хотя, должна признать сейчас, не вполне правильно и не во всех случаях по – японски, Славинька – таки смешивал стили); каратэ – не тот спорт, где интересуются кем-то, кроме себя. Наши преподаватели, вернувшиеся из отпуска, сначала покашивались на меня и мужа: птички шефа. Но мы очень старались, а они за лето кое-что подзабыли; кроме того, у нас был все же мощный «ввод», два месяца ежедневных индивидуальных занятий. Постепенно с нами многие подружались. Потом один из этих многих – гимнаст – уехал в Челны, получил там кафедру, а потом и вуз (Толя); другой в четвертый раз женился (Коля); третий купил подержанную машину (Ринат); четвертый стал спиваться с круга... Короче, своим рвением мы резко выделялись среди всех, и нам казалось, что вот – вот Славка полюбит нас по – прежнему.

Не тут-то было... Он стал скрывать от нас часы тренировок; скучливое выражение, все чаще заменявшее былую улыбку, доканывало меня. Но жить без тренировок я уже не могла. Железной, морозной зимой я ушла от него в другую группу... Но это будет уже следующий рассказ. А тогда я необычайно старалась, и у нас с мужем уже стали наблюдаться некоторые успехи, хотя до того звездного часа, с которого я начала главу, было еще далеко, больше года. Помню, перед тем, как начать искать возможность перейти в другую группу, я все же спросила,

как называется наш стиль: он был какой-то особый. Ответ был: атомиясаки. Ни до, ни после я никогда не слышала такого слова, и сегодня убеждена, что Славка его придумал на ходу. Такой школы нет. Необычность его стиля объяснялась его фантазией и определенной всеядностью: он включал, видно, и боксерские приемы, и движения из у – шу (тогда мы говорили кун – фу), and what not. (Основа была все же кёкусинкай). Однако словом этим я с тех пор сразила немало наших самородных каратэк. Бог мне судья; его первая заповедь – верь безусловно своему Мастеру.

Итак, я была, насколько могу судить, первой женщиной в родном городе, рискнувшей заняться каратэ. И притом в мужской группе. И к тому же профессиональных спортсменов. И никогда прежде не занимавшаяся никаким спортом. И так далее. Сменив потом еще двух тренеров (об одном из них расскажу ниже, там было смешно), – больше, чем через год, я уже довольно гордо и небрежно пришла на несколько тренировок опять к Славе. Тогда-то и случилось то, что случилось: понаблюдав за мной искоса с полчаса, он назначил тройной удар. Это была вершина моей жизни, ее золотая середина и высший приз.

Приходилось ли мне принимать хоть раз настоящий бой? Нет, конечно, я бы его не выиграла. Но тренировочные кумитэ я любила, боли не боялась, и бывало так, что дома после тренировки я не могла снять свитер: руки так отекали от блоков, что рукава приходилось распарывать по шву и потом опять зашивать. Этим я не горжусь. Это значит, слабые мышцы и с ошибкой проведенный блок. Тем не менее, я прошу учесть, что и во второй спортивной группе, куда я напросилась, не выдержав предательства Учителя, занимались только мужчины. Одно дело играть с мужчиной в шахматы, тут борьба ума и характера; другое дело кумитэ.

Расскажу еще о том, как я попала ко второму своему тренеру. Тут нужна ключевая фигура: это Зуфар Гимаев, художник сельской темы, чудесный колорист, эффектейшая внешность в раме рыжих кудрей и бороды, мим и каратэка, детский приятель мужа, а впоследствии наш общий друг. Зуфар Гимаев к женскому каратэ относился более чем скептически. Но он занимался в какой-то скрытой группе за городом, в Юдино, а других возможностей у меня не было: на нас уже пошли репрессии, группы разгонялись одна за другой. Вооруженная опытом навязывания своей диссертации, я со змеиной хитростью решила попробовать войти – таки туда, где Зуфар был вторым лицом после тренера, – он был сэмпай, то есть лучший, главный ученик. Когда после общей разминки новичков отделяют от кимоно, первых, черных, берет тренер и три часа до изнеможения гоняет их, например, в дзэнкуцу – дачи. А ветеранов, т. е. кимоно, берет Зуфар. Тут уж настоящее каратэ: бой с тенью (ката) и бой с противником, касание средней степени (кумитэ).

Надо сказать, что кимоно у меня было: подарок немецкого друга. Создался дерзкий, даже нахальный план.

Первый шаг мой был таков: я напросилась поехать с Зуфаром в Юдино посмотреть его тренировку по пантомиме. На это он согласился радостно и бесхитростно. Я понимала, что, завезя меня в Юдино, он будет чувствовать свою ответственность, когда наступит ночь (а она наступит моментально, пошел декабрь). Скорее всего, он не прогонит меня домой одну, а попросит подождать, пока пройдет следующая после пантомимы тренировка каратэ. Наверное, я пробьюсь в здание, где располагается спортзал, и увижу тренера, а там посмотрим. Надо было еще узнать, подходит ли мне стиль и степень нагрузки.

Вся эта первая часть была разыграна мною как прекрасно отрепетированная дома пьеса. Дальше ноты приходилось читать с листа. Стиль оказался шотокан, пояс у тренера, слава богу, белый; группа большая, но она потом, как я уже сказала, делилась надвое. Хоть меня и не хотели пускать «посмотреть», но я со всем возможным смирением в додзэ все – таки втерлась. После тренировки все идут в душ. Я вышла в коридор; близилась решительная минута. Нужен был экспромт.

Помогло делу то, что и после тренировки парни шли по ранжиру: первым – тренер, за ним, возвышаясь над его плечом, Зуфар. Я выступила вперед из тени коридора и загородила дорогу.

– Только, пожалуйста, не отказывайте мне с порога. (Голос низкий, контральто, виолончель! Самые биологически релевантные ноты тут потребны).

– Да, что такое? (Это Володя отозвался, тренер; из – за его плеча с немym изумлением взирал Зуфар).

– Я Вас прошу, нет, я Вас просто умоляю: допустите меня послезавтра до тренировки. Пожалуйста! Чем Вы рискуете? Ничем. Вы через двадцать минут можете меня выставить, если я Вам не понравлюсь.

(Немая сцена: Володя считает, что я – девушка Зуфара, и что он безмолвно за меня тоже всем существом просит; Зуфар обомлел и превратился в соляной столб от подобной моей наглости). Володя: – Ну, я не знаю... А Вы занимались раньше? – Я:

– Да, больше четырех месяцев. – Он, заинтересованно:

– Какая школа? – Я:

– Атомиясаки. **Всё расскажу.** – Он:

– Я не знаю... Ну, я не знаю... А кимоно у Вас есть?

– Есть!

– Ну, я не знаю...

– Чем, ну чем Вы рискуете, сэнсэй? Выгоните меня, в крайнем случае... А вдруг я подойду?!

– Ну, не знаю... Ну, приходите, что ли, в четверг...

Вот так это и состоялось. Зуфар долго не разговаривал со мной: до утра четверга. Вечером, ворча, он заехал за мной, и мы отправились. Излишне говорить, что после общей разминки я встала, – понятное дело, последней – в ряд кимоно.

Зуфар потом простил меня, только обращался жестче, чем с юношами. Чтоб знала. Чтоб служба мёдом не казалась. Подчиненный должен быть трепетен, а провинившийся подчиненный должен всю жизнь прожить провинившимся, на грани между казнью и помилованием.

Всю зиму почти что я ездила в промерзшей электричке в Юдино, вполне самостоятельно. Возвращалась в час ночи; и хотя я была очень довольна, все же эти поездки были трудны и небезопасны. К весне я стала искать новую группу. Таковая обнаружилась в университете; там состояли, в основном, студенты юрфака. Они находились еще на начальной стадии, но импонировало мне то, что тренер ювелирно подходил к технике.

Эпоха каратэ знала потрясения. Как известно, Федерацию закрыли; «неолимпийский вид спорта» подвергся ожесточенным гонениям. «Наши пошли по подвалам», кто мог; занимались некоторые, говорят, при свете карманных фонариков. Мне это все – таки не подходило: я хотела, чтоб был душ; по крайней мере, гардероб; по наименьшей мере – хоть стабильный приличный зал, по которому мне можно было бы ходить босиком. Кроме того, у меня должен был родиться ребенок: год почти носить, год с лишним кормить, болел он в младенчестве тяжело... В занятиях каратэ образовался серьезный, как я теперь вижу, невосполнимый перерыв. Правда, это все еще был не конец: когда Булат подрос, я стала опять урывками заниматься, с разными людьми, в разных условиях, с малым успехом. Последний мой тренер, Эдик Арсланов (дело было в Яльчике), стал одновременно первым серьезным тренером Тимура. К Славиньке Тимур ребенком тоже ходил, но ему это не нравилось. Больше всего он был недоволен тем, что мама с папой так очевидно, так полно и влюбленно заняты собой, а не им. Ему было семь. Когда вырос, овладел своим искусством Эдик (а он сам признавался мне, что триггерный эффект на него произвел еще в детстве мой танец а la karate на сцене яльчинского спортлагеря), Тимур стало уже семнадцать. Эстафета была передана мною по всем правилам.

Сейчас я помню только чувство непоколебимой уверенности в вечной красоте, силе и юности, презрительное отношение к любому проявлению слабости духа, ощущение превосходства по отношению к daily routine; как мы тогда говаривали: выходишь из спортзала – и тебе на все дразги на-пле-вать; маленькое – маленькое, большое – большое. Масштаб выравнился. Никакой мелочи уже не взять над тобою верх. Некоторые «коронные» свои удары и блоки я и сегодня могу провести, но не в бою, а в виде гимнастического упражнения. И сегодня я по – прежнему уверена, что, когда у меня будет много времени, я вернусь к этому главному делу и состоянию, я еще вернусь в счастливую и достойную страну таинственных отважных людей.

А кэнтос на правой руке, думается мне, выдают это мое славное прошлое.

* * *

По берегам блестящих рек
склонились синие осокори.

Учись – ребёнком, юношей – терпи.
Суди – возросшим мужем.
Советуй – стариком.

Все Веды в девяти словах.

Когда же я смогу
пройти по берегам блестящих рек?

По берегам тенистых вод
стеной столпились ели и калина.
Цветы – весной, кукушка – летом,
и осенью луна.
Холодный, чистый снег зимой.
Весь дзэн в одиннадцати именах.

Когда же я смогу
воды напиться из тенистых вод?

Я не хочу искать и не хочу идти.

Я знаю тайну: если вам берёза покажется смеющейся и светлой,
то знайте тоже: (правда, это тайна):
так светит в миг предсмертный человек,
сражённый молнией, упавшей с тучи,
поднявши руки к небесам в экстазе,
как девушка из лампы Метерлинка.

Теперь вы знаете. И можете забыть.

...А клюква незрелая, как бусы,
растёт на ниточках среди болота,
и бело – розовые капли клюквы

кому-то могут показаться тайной,
как брату моему из Андижана.

А в тёплом озерке среди болота
живут черно – червонные тела:
все в мягких перьях караси – зулусы,
как эта Нэнси. А по берегам
там соловьи поют и ходят лоси.

Когда же я смогу
вернуться к берегам блестящих рек?

Глава VIII. У колыбели

Многое в моей жизни исправлено и введено в привычную для людей колею необходимостью воспитывать младшего сына, как многое было сломано неизбежностью родить и поднять старшего. И роли их по отношению ко мне, и структурно наши отношения с ними довольно – таки разные. Родители первого ребенка – нищие, веселые, честолюбивые студенты; родители второго – потолстевшие, важно, медленно выступающие, тщеславные кандидаты наук.

Первенца страшно долго не могли поименовать и все перессорились. Моя англизированная, европеизированная мама желала, чтобы он был Роальд, Ромуальд, Оскар или, на крайняк, Леопольд. Моя наслушавшаяся патриотических, историко – обличительных речей и временно тюркизированной свекровь (каен – ана) предлагала такие имена, как Прозат и Хэплекэт; муж – «королевские» варианты Фархад и Фарук. Тимуром я окрестила сына, аки тать в ночи, ускользнув из дому в четыре утра в загс (потом уже никто не спорил, все измучились). Младшего же назвала Булатом, едва увидела в лицо. Первой беременности я стеснялась до обмороков и часто плакала, хотя она протекала в двадцать раз легче, чем вторая – с обоими токсикозами, психозами и со всеми существующими осложнениями. Первенца мы, неумелые и вдохновенные родители, пичкали огромными знаниями. Сейчас он клянется, что ничего не помнит; а ведь «Гайавату» получил в 4 года, в 9 – 10 утробно хохотал над похождениями Швейка, чего не понять ни мне, ни вообще ни одной женщине; в 12 мы читали извлечения из Экклезиаста и Чосера, а уж Пушкина – ежедневно. Моя мама, с которой он часто жил, и которая вместе с моей сестрой, тогда еще совсем юной девочкой, взяла на себя основную часть его воспитания в раннем детстве, – свидетельствуют, что Тимур больше всего любил чтение вслух, театрализованные представления и шумные игры, много и мгновенно рисовал и радовался домашнему веселью. Наблюдая, с каким отчаянием, трудом и ответственностью он пишет школьные сочинения, каким тонким чутьем слова постепенно овладевает, я прозрела в нем литературный талант, который раскрывается теперь.

Воспитание детей я понимаю как разговор с ними, т. е. так, как мужчины его понимают, судя по социологическим трудам (например, так считает социолог с роскошной фамилией: Ядов). И конечно, с Булатом и говорила, и играла я меньше, чем с Тимуром, и чем это необходимо. Я была много старше, чем нужно, это во – первых; образовательную информацию уже умела дозировать, не «передавая» лишнего; а во – вторых, я стала побаиваться, что если у Тимура и есть несравненная женщина – друг, то, возможно, по этой причине у него *нет* матери?.. Господи, прости, прости мое недомыслие, если так! Уж второй сын – точно *сын*...

В итоге Тимур более разговорчивый и открытый, чем Булат; о бедах и радостях Тимура я знаю гораздо больше, чем о скрытой, подспудной жизни младшего, дорогого мне мальчика, тоже талантливого, трудолюбивого, тоже с огромными карими глазами – но взгляд у первенца задумчиво – пронизательный, а у младшего печальный. И оба относятся к жизни тревожно. А ведь я только ради них, ради них одних – и иногда ради мамы – делаю спокойный вид, при всяком удобном случае повторяя, что все хорошо.

Все представления о правильной семейной жизни у моих детей от бабушки и тети.

Все представления о неправильной...

Один показательный момент: иногда младший сын начинает со мной по старой привычке «бороться» – какое-то время мы вместе ходили в спортивный зал – и так – таки нешуточно бороться, а вес с ним у нас как раз теперь одинаковый. Все же за счет прежней техники я иногда выигрываю, и он летит на пол. И с полу, смеясь и злясь: «Дурдом! какая мать, такой и дом!» И часто в его рассказах фигурирует образ плохой, неумелой матери и одинокого сына, принуждаемого заниматься не своим делом. Я только надеюсь, что все же он любит меня.

Это не значит, что я никогда не проводила жизнь у колыбели. Я имею в виду, у детской кровати принципиально бессонного и, как правило, больного ребенка. И если первый сын до года щадил меня, тяжело заболел лишь за день до юбилея, то второй захворал уже в роддоме. Только сначала я этого не поняла...

Расскажу вам, как я видела призрак у его «колыбели» – коляски, заменявшей несколько месяцев кровать.

В «Красном Кресте», куда меня по показаниям откомандировали за две недели до срока, я успела насмотреться на множество ужасов, до того, как Булат появился на свет. Приведу лишь один из немногих, поразивших меня, диалогов акушерок с несчастными: «Женщины, возьмите пеленочку, сядьте в угол на пеленочку!» – «Я РОЖАТЬ СЮДА ПРИШЛА!!» – «А и все-то здесь за этим пришли, представьте! Вы что, не видите, других мест нет?» Или еще: «Женщины, быстро берите газетки и идемте в детскую, мух бить! Ждем инфекции...» Женщины сидели и полулежали в коридорчиках, на раскладушках, стульях... Мы еще не знали, что началась эпидемия стафилококка. Санэпидстанция уже закрыла этот роддом, но Минздрав не закрывал, не было мест.

Словом, боясь инфекции, нас выписывали одну за другой, шитых на живую нитку, с трех – четырехдневными детьми.

Когда моему сыну исполнилось девять дней, я уже готова была умереть от усталости, хотя он был сначала вполне сносный, плакал все меньше, а потом и вовсе стал как тряпичный. Уставала же я от обычного, должного материнского труда.

И вот. Ночь, я иду по длинному, темному коридору из ванной комнаты в кухню и тащу тяжелый таз с пеленками. Справа освещенная ночником стеклянная дверь в главную комнату; наискосок стоит коляска шатром ко мне, в ней спит ребенок. Боковым зрением за полуоткрытыми створками дверей я вижу...

– а вы думаете, при этом не гудит полночь? Гудит. Двенадцать глухих ударов, слышных то ли сверху от соседей, то ли в открытое по случаю лета окно...

Косвенный взгляд говорит мне, что перед коляской стоит, всматриваясь в личико спящего ребенка, вроде бы муж. Только заметно выше ростом и почему-то в ниспадающем темном плаще в пол. Лицо, склоненное, со знакомыми, правильными чертами, как бы тонет книзу в тени, хотя по идее свет ночника, наоборот, должен его ярко освещать. И никогда, до смерти, мне не забыть взгляда тех черных, упорных, неподвижных глаз, будто без зрачков.

По инерции, влекомая тяжестью и усталостью, я пролетела мимо зала на кухню. Бякнула таз на табуретку, тут же обратно в комнату: ребенок спит, темной фигуры нет, муж лежит на диване, невидимом из коридора. Обнаженный, в белых плавках – никаких мрачных одеяний. Спрашиваю: ты вставал сейчас к ребенку? Нет, говорит, я все время тут лежу... Представляешь, говорю, так и так. Галлюцинация. Это все недосып; надо хоть сколько-то отдохнуть... так и стоит перед глазами этот призрак...

В ту ночь сын опасно заболел. Невозможно вспоминать, как и невозможно забыть, как нас возили в «скорой помощи» четыре часа по городу, никто не брал с сепсисом; я уж не упоминаю свое состояние: мне нельзя было сидеть, нельзя ходить, поднимать тяжести... Ха...

Трудно отрешиться от этих почти сорока летних дней 82 – го. Мы лежали в ДРКБ; это все же оказалась пневмония, но на табличке двери значилось: гнойно – септический барак. Потом нас оттуда перевели... Неделю у меня не было своего места, и я жила на стуле у порога его бокса, а когда мне дали койку в материнской, стало еще хуже. Бокс в одном торце, материнская палата в другом. Пока, полуживая, на полчаса провалишься в сон – и в это время заплачет ребенок; пока кто-нибудь разберется, чей он, и согласится дотащить до нас через всю больницу; пока я, в состоянии очумелости, подхватившись, добегу до него – он уже весь синий от крика, на соске – пустышке муха сидит... О Боже мой... И каждый день мне говорили: «Мамочка, готовьтесь ко всему. Мамочка, готовьтесь ко всему». И каждый день в боксах умирали двух –

трехнедельные дети. Ему прокололи весь ряд пенициллина, ампициллина, карбенициллина – состояние стоит, динамики нет... А на цефамезин, хороший такой полусинтетик венгерский, он дал настолько страшную аллергическую реакцию, что колоть его бросили.

Вылечили его, на мой взгляд, содовые вдыхания и купание в корытце с хозяйственным мылом. Я в слезах молилась той женщине – врачу, которая позволила и посоветовала ребенка, несмотря на высокую температуру, просто вымыть. И медсестре, которая помогла мне: налила теплую воду, распустила, как водоросли, в корыте упаковку ваты, и мы потихоньку загрузили малыша в эту мешанину; у него сделалось уморительно удивленное выражение лица, он за десять дней забыл, что это такое, и губы вытянул в трубочку, и глаза огромные раскрыл еще шире...

Смешные эпизоды, говорят, и на войне бывают. Были и в ДРКБ. Например, я очень гордилась, что у него такие глаза, и еще пушистые длинные ресницы. Когда мы освоились с больничным режимом, я потащила его по соседским боксам – хвастать перед бабенками (со многими из них мы познакомились еще в роддоме). Сунула одной из них под нос и говорю: смотри, какие ресницы! Та поправила очки, взгляделась, да, говорит, и действительно... Вдруг еще одна соседка, молоденькая татарка (а там основной контингент был из медвежьих углов, потому что в ДРКБ попадают только с самыми тяжелыми случаями), оттащила меня в сторону и в панике шепчет: «Ты что, ты что?! С ума сошла?! Сглазит же!!!» И на Булата плюет: «Тьфу! Ямьсез! (Плохой!)» Отводит сглаз, то есть. Сегодня себя так ведут не только малограмотные деревенские девочки, но и столичные штучки, а тогда было очень смешно.

Помню, что и у меня там, в больнице, считался дурной глаз, и от меня прятали детей, рисовали им, если случайно пристально взгляну, на лобиках пятна губной помады, пришивали на чепчики веточки черемухи.

А однажды прихожу в материнскую, – бабы хихикают смущенно, потом одна говорит: что это тут у тебя за крем такой странный? Мажем, мажем, не втирается... Эти дурочки жуликоватые улямили из моих вещей мягкий синтетический тюбик с чем-то, а надписи иностранные, неизвестно, с чем; наудачу употребили как крем... «Эх вы, – говорю, – бестолочи, хоть бы спросили поначалу, что, мол, в этой банке, что в том тюбике, а потом уж и сперли! Это шампунь, хорошо еще, вы зубы не взялись им чистить!»

Словом, что-то человеческое и в той жизни было, конечно, но в целом – детская больница это ад. Настоящий.

Общая характеристика состояния материнства – хроническая бессонница, горящие, изъеденные веки, провалы сознания, отчаяние при первых звуках кряхтения и попискивания из кровати, и отчетливое желание, когда крик – вот он, уже стоит, состоялся, – упасть в этот имеющий вид символа бесконечности орущий рот и умереть навсегда.

Двадцать с лишним лет детских болезней, лекарство по часам, безденежье, страшное ежедневное – чем кормить, чем кормить, чем?.. На работу – как вор, в командировку – как бандит, в ИПК на 4,5 месяца – как убийца. Сесть за пишушую машинку, в злобе захлопнув все чувства, все угрызения совести – противопоставить себя всему святому и доброму, что есть в этом мире, бросить сатанинский вызов всем порядочным людям на свете, изнасиловать единственно подобающую, правильную и высокочтимую традицию Kueche, Kinder, Kirche. Опять униженно молить вечно хворающую маму: я на три денька только, на три – четыре денечка в командировочку... я больше не буду... И видеть, возвращаясь, что тебя не узнает твой первенец; чистая душа, искренний задает вопрос: «Ты мама?» – «...Да...» – «Ты из Москвы приехала?» – «Да, Тимурик...» – «Больше не поедешь?» – «...» (Что сказать? Книжки-то по семиотике – все в Ленинке и в Иностранке...) Ни разу я не могла себе позволить уйти в декрет: деньги были нужны. Точно по слову матери, I am a bread – winner for my family. And had always been. Но это не считается на Страшном Суде; взыскательный судья такое не посчитает за подвиг. А вот сколько раз ты бросала детей на бабушку, дедушку, юную тетушку? Сколько недодала еды,

питья, не купила ботинки с рисунком зайца, недоиграла, недодарила, недотерпела, недосидела рядом?

Mea culpa noch einmal...

Я говорю это довольно – таки искренне. Раз один мой любимый друг, мудрый и тонкий, тогда совсем молодой еще человек, сказал мне: Эмилия, долг наш перед родителями столь велик и неохватен, что у нас никогда не будет возможности вернуть его. Он неоплатен. Поэтому честь человека состоит в том, чтобы все, что ему дали родители, вернуть детям своим, то есть такой долг отдается вперед, а не назад. Мы все, все люди, скорбим, что не смогли отдариться; единственная возможность перед богом – возратить полученное нами – сыновьям нашим. Тоже безо всякой надежды когда-нибудь слупить с них отданное под проценты: просто отдать, и все. Вот что такое мораль. (И вот каковы восточные, умудренные древней мудростью парни, ведущие свой род от Урарту!)

Еще изумительный по красоте самородок: моя мама в детстве имела крестную. У той были еще и свои, физические дети. Этой самой крестной приписывается следующая фраза: «Я, конечно, объективная мать, но я же вижу, что мои дети лучше всех!»

Вы понимаете мою аллюзию?

При всех недочетах воспитания (в смысле – воспитывания), пороках обучения, просчетах образования, – итог-то вот он: как честный человек, я же вижу, что мои дети лучше всех! А что они, по – вашему, так – таки, как саксаулы, сами собой выросли? Определенное участие мое в этом деле *есть*.

К слову сказать, я никогда не сумела бы воспитать девочку, дочь. Понятие «ребенок» для меня тождественно означает «маленький мальчик».

Когда я, раздумывая в одиночестве, совершенно серьезно начинаю сомневаться, плохой я человек или хороший, – не в том смысле, что я в гостях краду серебряные ложки (Бен Джонсон: if he says he doesn't know the difference between virtue and vice, why, sir, when he leaves our houses, let us count our spoons) – а в высшем этическом значении того, что есть добро и зло – я говорю себе: Посмотри на своих сыновей. И все поймешь.

Я хороший.

А когда Ренат слышит мои ламентации по поводу наследника, – что вот, мол, каков Дон Жуан, и сколько еще оставленных им девочек (и не только девочек, но и деточек) будет у меня на руках плакать, а он уже где-то на пантомиме с новой, – муж лаконично отвечает: «*Твой* сын».

Глава IX. Только истории

*Cras amet qui numquam amavit,
Quique amavit, cras amet.*

*Полюбит досель не любивший,
Тот, кто любил, вновь полюбит.*

Никаких эпизодов; на эпизоды времени не хватит. Называю только истории, и только экзотические или необычные.

Джорджи – бой, одна из первых историй.

Мы входим с кузинами в какой-то дощатый клуб маминогo училища, вместо Дворянского Собрания. Здесь должна быть праздничная дискотека. Сразу же навстречу миловидный, стройный, курносый, с разноцветными глазами, военный мальчик. Нараспев: ой, дивчата, и зачем вы сюда пришли? (Пришли?) Ничего здесь хорошего немає... Мы, робко: мол, потанцевать вот думали с курсантами... Мама прислала... А – а, потанцевать давайте потанцуем.

Джорджи – бой – самое давнее и постоянное моё... увлечение? знакомство? противостояние? дружество?

Мне было лет семнадцать, но я уже совершенно твердо знала, что должна идти собственным путем, а не по обочине чужой дороги. Поженись мы, – и высекали бы искры лет шесть, а потом расстались. (С месяц назад он мне так и сказал: была б ты моей женой, я б тебя вообще убил). А так – чуть ли не тридцать лет мы хорошие друзья. Я права, мне нельзя было замуж за военного. Это мои кузины очень хотели, да мама, да тетя. (Впрочем, как выше говорилось, вряд ли мне вообще нужно было замуж. Для меня нет подходящего мужчины, говорю об этом с печалью).

Когда-то он еще раз, уже не трагично, а просто тоном выговора, сказал: эх ты, плохо разве было бы?.. Возил бы тебя в университет каждый день... О деньгах вообще никогда бы не задумывалась, холодильник всегда полон, отдыхать – куда хочешь...

Совершенно серьёзно и в последний раз я объясняла: да, Жорик, я об этом не спорю. Велика сила денег, и ты победитель, твоя жизнь удалась. Есть и ещё одна власть – господство кресла. Связи. Чины. Это тоже большие, особые возможности. Однако пойми: есть ещё и третья власть, невидимая, но сильная. Я человеческих душ хозяйка. Духовная власть. Это я. Не зови меня больше в чужую степь; деньги и связи – не *надо* мной, а рядом со мной.

И я могу идти только своей самостоятельной дорогой.

С тем и расстались; а дружить не перестанем.

Сейчас подберу только действительно красивые и необычные имена (истории же за ними самые разные, в том числе и одиозные). Виорел, Гайоз, Ионел, Грайр, сын Огненного Глаза. Амиран, Роберт, Зури, Омар, Руфо Андрес... Харри, Луис Анхел... нет, Амиран и Луис сюда зря попали, это эпизоды. Тармо – нет, Тармо и Виорел действительно только имена. Лео... *No es tan fero el Leo, como le pintan*. Сейчас мы с читателем заблудимся.

Заблуждений не надо. Герои самых серьезных драм, ради которых я собиралась бросить свою жизнь и начать новую, – Гарик (Грайр) и Руфо. Оба раза я хотела уехать вон из России – и оба раза оставалась, и не по своей, а по их воле. Что-то неправильно складывалось в правильной, простейшей геометрической фигуре – треугольнике. Жалею ли я? Конечно, жалею! Однако теперь уже – «не волнуйтесь, я не уехал. И не надейтесь, я не уеду». Я ведь рассказывала вам о Парне из преисподней? Нет ещё? Ну, потом, попозже.

Если читать и апологизировать мою жизнь именно в избранном здесь аспекте, то на сегодняшний период я талантливо веду роль Домны Платоновны, лесковской Воительницы; в особенности удаётся последняя сцена, и кто услышит моё исполнение, будет потрясен до навзрыда, ставлю что угодно. Однако не надо об этом больше. Довольно. Довольно, довольно, где моя заговорка?!

Aquila non captat muscas.
Изредка разве, по простоте.

А начало устойчивых представлений о верной любви – судьбе было положено в детстве. Они были, разумеется, книжными. Но когда я училась во втором классе, во всех кинотеатрах страны пошел фильм «Человек – Амфибия» с дочерью Вертинского Анастасией и никому неизвестным Владимиром Кореневым в главных ролях. Я посмотрела его восемь раз кряду (впрочем, куда мне до мамы, смотревшей «Большой вальс» 26 раз – лента оказалась для нее судьбоносной, мама под этим впечатлением пошла на английское отделение инфака). История Ихтиандра и Гуттиэре («Гутьеррес») навсегда определила мои представления о любви, ее драме, о декорациях, – белый город на южном море, – в каких должна протекать эта невероятно прекрасная и печальная любовь с трагическим концом. С тех пор и до этих пор я влюблена была в Ихтиандра, и если встречаю похожего юношу, добром это не заканчивается. Заканчивается печалью...

Лучше передам всё в стихах. Вот перевод с румынского:

Элегия

Ион (Нелу) Вэдан.

Небо рассыпало звёзд вереницы,
Матери голос в вечерних ветвях.
Да, умирают в неволе птицы,
И безнадежность в моих словах.

Скосит отец меня вместе с травой,
Унесёт меня в дом на холме,
И заплачет на листьях цветок дождевой:
Это дева грустит обо мне.

И сестра меня с зёрнами пашни
Бросит в солнечный диск золотой.
Но в словах моих песен вчерашних
Я останусь, всё тот – и иной.

По – румынски это, конечно, гораздо красивее. Нелу учился в Клуже, мы познакомились летом 1970 года и тут же расстались: я не представляла себе тогда брака с иностранцем. Потом пошли наши «иностранцы», советские.

* * *

Вновь и вновь, – о, в который раз!
Закипает мое волнение;
Вновь рождает в душе смятение
Взгляд горячий царственных глаз.

Жребий брошен и выбор сделан.
Мотыльком лечу на ладонь,
О мой мудрый и пылкий демон,
Негасимый темный огонь!

Я на суд тебе отдаю
То смеясь, то гордясь, то тоскуя,
Очарованную и хмельную,
Изумленную душу мою.

Снова слышу безмолвный приказ,
Обещание сладкого плена...
Да ведет меня в бездну, в геенну
Взгляд горячий царственных глаз!

* * *

...И снова ложатся привычно на струны
Простые слова безыскусных песен.
Наш призрачный мир невелик и чудесен:
Теней полумрак, колдовских и прелестных,
Шуршит парусами над маленькой шхуной.

...И снова приходят витой чередой
Канцоны, созвучья, трезвучья и терции;
Проникнув в тебя, они станут тобою,
Твоею любовью, твоею бедою,
Дав имя тому, что живет в твоём сердце.

Заглянет рассвет в голубую лагуну,
И в день мы уйдем, закусив свои губы,
Уняв свои слезы, скрывая бесчестье...
И снова падают навзничь на струны
Глухие слова испуганных песен.

Под знаком дождя

Нас преследовал холод и дождь.
Лихорадили солнце и снег.
Белокурый Орфей, это ложь

Исказила твой ласковый смех.

Это ран разрастается боль,
Отравляя вино наших встреч.
Безысходная, горькая речь
В серый круг заключила любовь.

Это слезы залили мой след.
Это вянут сухие глаза.
Снова дождь, снова дым сигарет.
Знаю все, что ты хочешь сказать.

О, запомни, Орфей, уходя:
Ты уносишь не только любовь.
Истекла, расплетая покров,
Моя юность под знаком дождя.

Конечно, много стихов о природе: календарь своеобразный.

Ноябрь

Трагичен ноябрь и жалок ноябрь.
Слезится, кривится, источен дождем.
И мне тяжело, безысходно, но я бы
Сказала: «Утешься, еще подождем.

Свой дух укрепим, если сможем. Поверим
Во встречу под сводом сиреневых туч.
О, как нестерпимо блеснет над галерой
Свободу дарующий солнечный луч!»

Еще я сказала бы: «Небо разлуки,
и тусклый белесый осенний туман,
и дождь из – за снега, унылые звуки,
бессильный осенний ноябрьский роман, —

Все будет разорвано, взорвано, смято.
О, как нестерпимо блеснет из – за туч
Морозный, стальной, золотой, полосатый,
Несущий спасение солнечный луч!»

Сказала б еще я... Да некому слушать.
Сии излишня упали в цене.
Ни друг, ни подруга, ни муж равнодушный...
А есть ведь чудачки – завидуют мне!

А что я имею из всей непомерной
Вселенной, встающей зарей над лицом?!

Ривьера, триера, террарий, вольера,
Морковка, поилка, цепочка с кольцом.

Декабрь

Приходит темно – белый вечер.
Декабрьский сон, не беспокоясь,
не суетясь, не быстротечен,
возьмет за пальцы и за пояс,
потянет к вечности диванной,
погасит жизни красованье...
Какие гости? Это странно.
Какие книги, песни, знанья,
стихи, поездки, дети, званья,
зачем все это? – tutto sanno,
e nulla fanno.

Апрель

Восторг, простор, воздел, простёр,
молитвенно на кочке замер;
зиме конец, полей венец,
скворец над полыми снегами.

На первый скромненький пикник,
через овраги напрямик;
вздых углублен и взор смягчен,
лоб вешним солнцем облучен.

Озон, плэнэр, предел, мой друг!
Ты на холме в экстазе замер;
И *dolce far niente* в круг,
И ни души перед глазами.

Верлибр де Мистраль

Послезавтра июнь, а сегодня, вчера, и третьего дня,
и четвертого дня, и неделю, и больше того
Войско сизое туч планомерно, волна за волнами,
продвигается быстро туда, где в хорошее, помнится, время
по утрам занималась заря.

Черно – ргнутый подбой, серо – синий подзор
создают впечатление принарядившихся к бою
наемников.

Смертной сыростью каждый сустав уязвлен человек,
дрожащих от ветра.
Снег склоняет цветущие крылья акаций
скрести по асфальту,
Снег туманит и свадебный глянец розеток на вишнях и сливах,
и стекло ветровое на трассе.
Чистым градом немелким сечет
по хвосту и по вздыбленным перьям
бегущей пешком с паническим воплем
вороне.

В цепенеющих мыслях
кое – как созревает удовлетворительный тезис:

Обратите внимание,
Весь этот возмутительный проект конца света
Именуется захватывающе – романтическим словом
«*мистраль*».

Трепет

Самая длинная ночь налетает на дрогнувший город.
Черно – сапфировый склон, синие кони в огнях.
Черно – фиалковы кудри возникшего грозного Норда.
Черно – жемчужная цепь, бело – серебряный след.
Ширится рев победительный страшного ветра.
Неумолимый поток, аквамаринный блеск.
Обсидиановым перстнем украшена пясть беспощадной.
Всяк, кто увидит его, оцепенеет навек.

Двуослепляющий челн полумесяца ветром относит.
Линзами слез ледяных взгляд нестерпимо разъят.
Слева морозным кристаллом застыл Орион благородный,
Ярко и люто горит справа звезда Люцифер.

Желание

Случайных друзей замыкаются руки
Средь тьмы новогодней в кольцо – оберег.
Его стерегутся и навьи, и духи;
В крошечном мире беспокоятся звуки,

Лепечут, роятся, ложатся на снег.

Искрится, не жаля, огонь из Бенгали,
Легчайшие иглы и звезды пестрят;
Двенадцать ударов из купольной дали
Сюда подлетали, сюда подлетали,
Сюда долетали из бронзовой дали
Двенадцать ударов подряд.

Пора: пожелайте всего, что хотите!
Друг первый, меня с этим годом поздравь!
Смотрите, как светится наша обитель,
И лодьею месяц скользит по орбите,
И кругом земным простирается правь.

Любые хотенья, любые моленья
Сегодня сбываются в чудной ночи.
Над навью и правью надежей и явью
Воздвигнулся вечный хранительный щит.

Всеблагий правитель небесного круга!
Всем сердцем молю: свою милость яви,
И милому другу пошли Ты подругу,
Даруй ему верную, Боже, супругу,
Не дай ему, Боже, прожить без любви!

И вот в другом стиле (это было на Яльчике).

* * *

Оставь меня, печаль.

Скажи сама себе: «Не плачь, малышка».
Или лучше: «Дорогая,
не плачь». Не ожидай, что кто-то сладкий
все это скажет сам, чтоб ты не знала слез.
Осталось все в лесном фанерном доме.
Опасно стиснет сердце
при вспоминаньи чудном отведенных
гардин – завес и двери отворенной,
и очерка, что станет в раме двери:
тот силуэт, та поза ягуара,
и кудри черные, и нежный взгляд мальчишки,
не знавшего ни тонких, мудрых мыслей,
ни хитрости, ни лжи, ни игр мужчины, —
то воплощенье хитрой, лживой силы,
игра самовлюбленной красоты.

Оставь меня, печаль!

Оставь, мне легче: на вершине вдоха.

Да, едкая вода в глаза зальется,
когда попробуешь взглянуть вокруг, нырнув...
Да, нежная вода разляжется вдали и в берегах
глубоким черным зеркалом рояля
концертного под светлым лунным диском,
под недоступной золотой луной.

Оставь меня, печаль, а ты – вернись,
Вернись, не исчезай, упрямый Мастер!
Я помню ночь: мой сын, твой друг и лодка
неслышно, тихо, слышно, слышно плещет,
твой голос нас зовет из – за протоки,
нас скоро переправят в дом озерный,
и вдруг, все звезды побеждая некой жизнью,
неповторимым и нерадостным гореньем,
прошла нацеленно прекрасная комета
безостановочно сквозь Млечный Путь...

Оставь меня, печаль!

Я проведу тебя:
Я буду думать, что уже не жду,
а потихоньку все же буду ждать,
и обману и случай, и закон
самой судьбы:
Да, вот увидишь, подлый бог,
что я его дождусь!

Вот еще про Яльчик.
Это японская танка, философская.

*Ты был здесь счастлив.
Потом несчастлив.
Потом немножко счастлив.*

Оказывается, не танка, а хокку. И не хокку даже, потому что в хокку в первой строке пять слогов, во второй семь, в третьей снова пять. Ну ладно, как сказалось, так и живет.

Вот еще стихи разных лет.

Серебряный секрет

В ту светлую седмицу мая,
Отгородясь от внешней тьмы,

Полу – резвясь, полу – страдая,
Игру в венчанье вили мы.

Но тише, ш – ш, наденем маски...
Храни серебряный секрет
И шелест, шорох, шепот сказки...
Я не нарушу свой обет,

Клянусь молчанием созвездий,
Клянусь серебряной луной,
Шампанским, шоколадом, Шеззи,
Шираито и тишиной, —

Я буду жить в объятьях эльфа,
И смех, и гнев людской презрев!
Рок, случай, знак, оракул в Дельфах,
Семерка, тройка, дама трэф.

* * *

Когда ты ушел, над разливом души
Пронесся ли вопль, иль аккорд многогласный
Страстей раздирающих, мыслей больших
И малых надежд, и страданий напрасных.

Пронзительной нотой всех выше взвилась
Обида и ненависть, режущий звук.
За ними презренье: «Дерзайте, мой князь,
На приступ! На птичник! Смелее, мой друг!»

А в среднем регистре – насмешки мелизм,
А в нижнем – унылого смысла сарказм.
Ну что ж, Мессалина, давайте без тризн.
Давайте забудем, что значит оргазм.

А в контроктаве, как пение гор,
Как рокот ночной, прозвучал приговор:

«Сказали мне, что та дорога меня приведет
к океану смерти,
И я с полпути повернул обратно. С тех пор
все тянутся предо мною кривые, глухие,
окраинные проселки».

Вот стихи, которыми я больше всего в жизни горжусь. Они сделаны из писем Франца Кафки к своей возлюбленной, Милене Есенской. Только я пишу наоборот, *от* женщины к мужчине.

Милена – К.

Твоя рука
покоится в моей руке.
Так будет до тех пор,
пока ее ты не отнимешь.
Как мне ответить
на твой вопрос?
Ведь не в письме же?
И не в стихах?

Вот если мы
(А в небесах гудит,
как исполинский колокол:
«Тебя он не оставит».
А в двух – трех комнатах,
и ко всему – в ушах
звонит другой, поменьше, колокольчик:
«Он не с тобой. Его здесь нет.
Он не с тобой».
А я люблю – но не тебя, гораздо больше:
Тобой дарованное бытие.
И лишь одной возможности в нем нет:
непостижимо – но ее здесь нет:
возможности того, что ты сейчас
войдешь и будешь здесь), —
вот если вскоре
увидимся мы в Вене, —
нет, не в Вене, а в Праге, нет, не там,
а в Братиславе, —
нет, – конечно, в Вене,
увидимся, то я наверняка
тебе скажу. Но только не пиши,
прошу тебя, ах, не пиши мне больше,
что ты приедешь в Вену: ты же знаешь —
я не приеду, но твои слова
как маленького пламени язык
неотвратимо к оголенной коже
прильнувший – да, но где ты, где ты?
В Вене?
Но где это?

А, знаю: это там,
где на перроне Южного вокзала,
за Laerchenfelderstrasse – мы прощались...
Твое лицо, явление природы,
померкло не от туч, а изнутри.

Прикосновение губ – не поцелуй,
но лишь беспомощность
всей беспредельной жажды...

Еще: Thomas Dibdin/Emi Tajsin, сделано оно из прекрасных насмешливых стихов другого поэта.

Love and Glory

Old Emi was as brave a girl,
As ever graced a martial story.
Rene was fair as a rare black pearl;
He sighed for Love, and she for Glory.

With her his fate he meant to plight,
And told her many a gallant story;
Till war, their coming joys to blight,
Called her away from Love to Glory.

Old Emi met the foe with pride;
He followed, fought! – ah, hapless story!
In black attire, by Emi's side,
He died for Love, and she for Glory.

А это посвящено Руслану, чудному, талантливому и загадочному.

St. Valentine's Day

I hold a glass of sweet champagne.
Sun beams on snows of my domain.
I sing of love, I live again;
Here's to my darling Valentine!

Black beard enthroned on his pale cheek;
His dome – like forehead's always bleak;
Dark clothes close the shape unique
Of my mysterious Valentine.

His whisper fills the soul of mine;
His manner shows the grace divine;
His mind is deep like solemn brine;
Here's to my pious Valentine!

He knows the art of high debate.
In sacred texts he does his bathe.
God in His mercy gave him grace,

And he's the lover of the Fate.

Let's drink a health to him who tried
The charms of Charm, the chains of Chain,
Who has endeavoured all the might
Of spell, and Gospel, and refrain.

This winter day has golden rim!
I raise my glass to skies above,
And I drink my champagne to him,
And he will drink his one to Love.

For he's a poet on the brim
Of old sophisticated Time.
I think of him and sing of him;
Here's to my noble Valentine!

Вобщем, раньше все стихи были либо о природе, либо о любви. Основная дихотомия – очарование – разочарование.

Love Songs

«Love me tender, love me sweet», —
Chirps the golden parrakeet;
«Love me little, love me long», —
Warns the wise precautious song.

I don't care a hair for these,
I have never prayed for peace.
I will sing another song:
Love me short but love me strong.

Two Prayers

* * *

Oh boy, why treat me like a saint?
Release me of your pious love;
My manners are by no means quaint;
I do not beam from high above,
I cannot dance upon my toes,
I cannot play the harp or fute,
I do not pardon all my foes,
My tune is shameless and acute;

No angel dwells in my brave soul:
He'd be afraid of eagles nest,
Afraid to touch my anger's bowl,
Or dare touch me while I rest.

Ambitious, arrogant, and stern,
I never laugh when I am glad,
I never cry when I am sad,
I laugh and cry to gain concern.

Oh boy, I've never loved a man
For more than two years and a half;
Like treacherous Mab, I always plan
The ending act, the bitter laugh,
The parting scene, the painful moarn,
The heartquake, earthquake, skyquake roar,
The tears unshed, the words unborn,
The curse unbreathed, the slamming door...

Oh Gods, ye sacred and ye great!
Oh Cyprid sweet in pearly shell!
Do teach this boy to separate
Wise mortal woman from yourself!

Break down the apparition wrought,
Don't make me go through inward change!
Just leave me to my happy lot:
To choose, or drop, or to revenge.

Child, do not treat me like I be
The Highest Being shaping lives!
Oh boy, and don't you realize
That you're thus shaping *slave* of me?

My faithful youth, I feel like caught
In silken net by gentle hand;
For human can betray his God,
And God just can't betray his man.

* * *

How overwhelming, strange, and plain!
My loyal Knight has fallen in Love.
Who could believe I'd feel the pain
When he embraced that gentle dove?
When he pursued that cunning nude,

Who could believe I would be hurt?..
I do not play the harp or fute,
So let my violin now be heard.

And every soul that knows me well,
Knows well the passion of my will!
Same tune Orpheus played in hell
Descending down Elysium hill.

Ambitious, arrogant, and blind,
How dare you come before my eyes?
Just spare me of your sharp replies;
I dwell the world you've left behind.

Take your Martini and cigar,
Keep your guitar and hold your sword.
Now you're experienced, brave, and taught,
I've made of you the one you are.

I've been a farmer to the weed;
I've played a priest throughout three shifts;
And who has made your shape complete?
And who has kindled all your gifts?
Who has revealed your power of thought?
Who's welcomed every grandious plan?
Who's taught you to behave, and court,
And love a girl, and be a man?

I combed your hair and gave you bread,
Taught you to sing when you're in grief,
To weave the rhymes, and to forget,
And to respect, and to forgive!

You offered me your hand and heart;
I knew you boasting, lying, mad,
I saw you struggling, crying, sad,
I heard you swear we'd never part.

You broke your word, but I will not
Deprive you of my helping hand.
For human can betray his God,
Yet God just can't betray his man.

Баллада о замке Оверлук

Он, сидя в кресле у камина,
Письмом задумчиво играл.

Шотландский вечер тучи гнал,
Вился вуалью вечер длинный;
В затишье бархатной гостиной
Огонь трещал и обмирал.

Письмо гласило: «Господину
Джакомо Россо, в замок О.».
Свивался в тучу вечер длинный,
То спал, то пел берегет старинный,
Луна металась высоко.

И призрак, житель Южной башни,
Король кровавых дней вчерашних,
Неслышно с галереи плыл;
Скользнул, снимая меч свой страшный,
В овал гостиной – и застыл.

В письме стояло: *«Друг Джакомо,
Оставь печальный свой приют.
Твоё несчастье мне знакомо,
Но по ушедшим слез не льют
По стольку лет, вдали от дома;
Вернись к друзьям в страну твою!»*

*Абруцци шёлковое небо
И ток фалернского вина
Печали утолят сполна.
Давно, давно ты с нами не был!
Год траура испив до дна,
Очнись, веселье – не вина!
Нам жизнь для радости дана.
Жена твоя погребена,
Возврата нет, его не требуй!
Да снийдет в сердце тишина.*

*Красою итальянских дев
Спасен ты будешь, друг любезный!
Камзол и домино надев,
На карнавале, под напев
Веселой лютни, ты из бездны
Тоски и пени бесполезной
Вновь воспарись, сменив удел,
И сняв со лба венец железный!»*
Круг замка, в северных горах,
Выл ветер, снег метя и прах.
На резком профиле медальном,
На лбу высоком, на висках
Сгущались тени... Отзвук дальний
Лился и плыл со всех сторон;

То небо источало стон;
Но в замке правило молчанье.
Легли драконы на коврах.
Всё цепенело. Крался мрак.

...Почил ноябрьский вечер длинный.
Портьеры дрогнули слегка:
То призрак вышел из гостиной,
Забрав свой меч. Тогда картинно
Взяла бокал с доски каминной
Прекрасно – бледная рука.

...Вотще заботливые духи
В тревоге сервируют стол:
Милорд на ужин не пришел.
Вотще невидимые руки
Бодрят постели томный шелк;
Напрасны тихих песен звуки;
Мы в горе к утешенью глухи.
Милорд и в спальню не пришел.

И привидение сердито
По галерее пролетев,
На духах выместило гнев:
Рассеялась нагая свита,
Огромных башен не задев.

Когда же лунный месяц минул, —
В Восточной башне, у стены,
Жил новый призрак. Щит луны
Блистал над зябнущим камином,
Не покидая вышины.

Здесь мира нет – и нет войны.

...Когда с подножья, от деревни,
Звучит двенадцатый удар, —
Обряд поддерживая древний,
Два короля, и юн, и стар,

Вия пурпурных мантий стяги,
Презрев неверный, бранный мир,
Сближают кубки темной влаги,
Безмолвный начиная пир.

Летняя бессонница

Ах, лучше никогда, чем поздно!
К чему теперь ты мне, бедняк?
Зачем июнь, медвяный, росный?
Зачем свободных два – три дня?

Зачем мне в двадцать лет игрушки,
А в тридцать – юные пажи?
А в сорок – золото не нужно,
А дальше – хоть бы и не жить.

И запоздалые награды
Я не желаю примерять,
И людям на смех мне не надо
Смотреться ягодой опять.

Скажи, давно ль ты стал философ?
По – моему, не так давно...
Вот миражи видений пёстрых,
Концептуальное кино;

Звон комариный и астральный,
Пuls фигуральный у висков...
Легко хвалить жару Австралий,
Июнь прожить не так легко.

Сегодня всё мне мнится странным:
Свеча мерцает и двоит,
Молчанье кажется обманом,
Дымится пепел, ядовит;

Свисает тень, склонившись низко,
Устало не сходя с поста.
Арабской вязью стал английский,
Арабской вязью русский стал.

Тьмой фиолетовой с востока
Влечется ночь на свой закат.
Подходит сон, изящный, строгий, —
И мимо вновь, наверняка!

Зарю пропев, умолкло сердце.
Остыл изысканный мундштук.
И как пророк над иноверцем,
Воздвигся неба полукруг.

Простерлась Эос – невозбранно
Уестествляемой Лилиг...
Болит поверхностная рана,
Глубокая – не так болит.

The Squirrel and the Eagle

A ballad.

Hey, hop! From branch to branch, from tree to tree!
How nice to travel in the morning light!
What grace to feel that you're agile and free!
And ain't my hopping – leaping like a **fight**?!

Hey, ho! You people of my native woods!
Out of your holes, let's play – and – hide – and – seek!
Mice, hares, and moles, see how my tail protrudes!
See how I dance and laugh and tease and squeak!

I crack the nuts and hide the mushrooms brown;
I thread the beads of berries and of buds;
I **don't** care much if they be lost or found;
It's not the work of need, but of fine arts.

So long a day, so short a life, my Lord!
(See I'm no stranger to some serious talk!)
My vast eternal sea of rustling load
Lies wide and wavy up to sentry oak.

But then, oh hush, my humble, and behold:
Outside the forest sleeps the desert red;
And, far than that, a mighty rock and old
Like frozen thunder, bears its peaky head.

Charmed and entranced, I watch the clouds float by,
Half scared, half anxious, eager and obsessed;
And, on the crowning peak, the highest high,
I recognize the Saturn – shaped black nest.

The sunset backcloth burns with magic fire
Of ancient signs no living – thing can tell.
Unable to submit or to retire,
I witness nature ready for the spell.

...And lo! The light is swiftly fading down;
The blistful **Imdugood** spreads whirling wing;
Across the sky flies roaring silence sound, —
And here comes His Majesty the King.

A naive prayer

You know I never pray aloud.
I hide my hope and faith.
And when I see a singing crowd,
Blush comes into my face.

You think me wrongfully acute,
Because You heard me tell
That shower and perfumes substitute
Me soul and spirit well.

I know I am a sinner, since
I doubt Our Father's might;
And showing no concern just means
To show «folie» and spite.

You sealed me with severe look,
And I grew weak and meek.
A royal King of Eagles took
A fy – away from me.

Now I'm alone, alone again,
A doll with broken heart.
You still believe I cannot pray?
That's why You set apart?

Now see me knealt from high above!
You'll hear from down below:
«Oh, take me to your arms, my love,
For keen the wind doth blow!»

Прорицание

Мне волхвовать в коричневой пустыне,
Корой укывшись светлой бересты.
Мне неотступно думать: где ты ныне,
Меня ль еще воспоминаешь ты?

Мне воевать с тупые злые бесы,
И под шелом увязывать власы.
Тебе воссесть архангелов одесно,
Следить с восторгом райские красы.

А в этой жизни, предков чтя обычай,

Тебе сберечь седую старину,
А с поля брани захватить добычей
На час утех ногайскую княжну.

Защитник, страж, певец родных пристанищ!
Сим прорицаю: купно с Неиным
Ты явишь правду, сам же ею станешь,
Ты будешь счастлив счастием земным!

По таинстве венчанья, как к святыне,
Навечно ты прилепишься к жене...
Мне уходить. Так не рыдай же, сыне,
Во гробе зряще, не рыдай мене!

A fairy – tale

My Lord the Carpenter, behold
The plea of mortal soul!
In days of sheer youth I was told
This story as a whole:
There once had sprung a tragic love
Between a lightning white
Dispersing fies from high above,
And river, fowing wide.
The River marveled at the show
Of sparkling, dazzling spears;
And he refected them below
And mirrored radiant spheres.
Slow waters sparkled in delight
Or ran in thousand springs;
The mighty River watched the lights
That trembled on the strings.
The Lightning sang her frenzied songs,
She danced and prophesied;
The zigzag signs confessed and warned,
She knew she was desired.
The deep sweet waters closed the care
Of deep sweet heart in love;
He did not notice love was there
Until he heard enough.
The mighty River formed a lake
To hold that furious life
To hug in marital embrace
The one he called his wife.
The Lightning twinkled him a kiss
And rushed to meet her fate.
The freball blazed, blew up and hissed

And few to fall and fade.
Evaporating, boiling lake
Was veiled with misty fog;
The River groaned and strived to take
Last waters to the bog.
You could imagine him return
When tears of rain were shed;
The lake was dry, the grass was burnt,
The Lightning, she was dead.

This moarnful ballad makes me sad
And shivering from cold.
I am no bird I am no cat
I am a human soul.
My burning nature can't be changed,
I am all fames and fre;
Beyond all that, I am engaged,
And I don't want to die.
My Lord the Carpenter, I beg
That You should meet my plea;
Take cedar logs, and fasten belts,
And make a raft for me.
Oh Lord my Savior, here's Your turn
To show Your magic craft!
Rejoyce, my soul, red fre, burn,
Wide River, drive the raft!

Приведу еще стихи, которые были в начале: им двадцать пять – тридцать лет, но я и сегодня думаю так же, как и тогда.

* * *

Догорает мой День, блистая.
То ль витает воронья стая,
То ли пепел летучий тает
Над костром лица моего...

Кроме страстных, коротких песен,
Кроме мерно гудящих столетий,
Да безжалостной, длинной плети
Я не чту под луной ничего.

Помертвует осенний холод,
Захлебнется коктейлем город,
Нежных глаз мелькнут хороводы,
Ночь немая летит ко мне.

Я умею лечить печали,

Превращать расставанья в начала,
Мне Природа – Мать обещала
Счастье где-то на той стороне.

И более поздние.

* * *

К каким вещам я охладела!
К скольким явлениям, именам!
Барабудур, Бергсон, Мандела,
Чивитавеккья, Суринам,

Рокамадур, тулуп, мартини,
Твин Пикс, Квин Маб, БГ, Джей Си,
Квентин Дорвард и Тарантини,
Питоны Монти, Дебюсси,

Дольмены, парусники, сольди,
«Машина», новый поворот,
кот Леопард и Леопольди, —
пардонте, все наоборот...

Теперь никто меня коварный
бы не зазвал на сеновал.
Я разлюбила звон гитарный,
а пылкий рыцарь сам увял.

Мне опостылел Ференц Кафка,
Мартын Хайдеггер, дон Хуан,
все три «Девярых», камилавка
Владыки, бурса, пляс, диван.

Но дальше всех с завидной силой
я б постаралась оттолкнуть
ученых немцев бред спесивый,
их экзистенциальну муть,

английский стиль, австрийский гонор,
белиберду филологинь,
тупых студентов, южный говор,
злых Янов и безглавых Инь!

*Былина о Василисе Премудрой, Иване – дураке,
Кошце бессмертном и Диабаз – скале грановитой*

То не гром катит по поднебесью,
То не брань гудит по всей росстани:
Стук копыт гремит: скачет борзый конь,
На коне ли том что Иван сидит.
Держит он, Иван, копьё вострое,
А в другой руке он нагаечку.
Он глядит вперед, в синий окоём:
Там летит – мелькает лебедушка.
Кличет он, Иван, громким голосом:
«Ой же ты, Василиса Премудрая!
Ты постой, постой, погоди меня,
Возвернись ко мне, лада милая!»
Отвечает ему та лебедушка:
«Ах, Иван, головка победнинька!
Уж не сам ли ты восхотел того,
Чтобы мы николь не встречались?
Я тебя, Иван, с той поры боюсь,
С той поры боюсь, опасаясь,
Как обманом ты обещал любить,
Сам исчез, пропал в одночасие.
Уж и я ль тебя не учила уму,
Уж и я ль была не спомощница,
Не спомощница была, не сподвижница,
Да во всех твоих делах не советчица?
Ты зачем, Иван, слушал злой навет?
Ты почто меня защитить не смог?
Уж и я ль тебя не звала назад?
Ну да вижу – нет, не заладилось.
Не моя вина, а беда моя,
Что, женившись, в час разженился ты.
Ночь супружеску, горе – муженек,
Ты предал на суд, пересудный толк.
Ты зазвал меня, да своей назвал,
Да назавтра сник, перекинулся.
Не вини теперь, что обида зла:
Упустил ты, Иван, свое счастье.
Ты любить умел – холить не умел,
Скатный жемчуг ты по двору сметал.
Ты поймать умел – не умел сберечь,
Так прощай, лечу я к Кощеюшке.
Что Кошей ли тот, его все дрожат,
Мне же он, Кошей, верно предан был.
Что даров дарил, что похвал точил, —
И по сей он день ждет, что я вернусь.

Что ли жизнь его – скука смертная,
Утро горько, ночь – растуманная.
Не люблю его, ну да быть сему;
А с тобой, Иван, не остануся».
Так летит она, а Иван спешит,
Погоняет он коня верного.
Восемь дён на юг все неслись они,
На девятый день силы кончились.
А пошел тут путь круче, круче вверх;
Спотыкнулся конь, глаз косит, храпит;
И стоит, крепка, на тоём пути
Диабаз – скала грановитая.
Приоткрылся взор сердоликов – глаз,
И раздался глас сильномужествен:
«Стой, Иван, ворота солова коня:
Не судьба тебе лебедь – птицу взять.
Кабы ты умел да ее ценить,
Лебедь – птица стала б твоей навек.
А теперь – прости, не журился, брат:
Не по чину сел, не по чину встал.
Ой же ты, Василиса Премудрая,
Ты чудесна птица серебряна,
Обопришь на край, да прильни ко мне,
Я спасу тебя, дам укывище.
Ты лоза моя, ветвь возлюблена,
Напои меня золотым вином.
Лебедь нежная, обними меня,
Осени крылом грудь упорную.
У моих стопов море плещется,
В сердолик – глаза звезды смотрятся.
Не летай к Кощею, лебедушка,
Оставайся здесь, лада ласкова».
...И заплакал тут неповит Иван,
Повернул коня, да и в монастырь.
А в рассветный час диабаз – скала
От истомных ласк кораблем всплыла.
Кораблем всплыла, да – й на юг пошла.
Лебедь белая под кормой спала.

Ночное пророчество

Напролёт фанданго танцевали;
А когда закрапало дождём,
Он сказал: «До встречи на привале!»
И ушел проверенным путем.

Мне сомненье: был ли он обманным

Сновиденьем, близкий и ничей?
Но остался дым марихуаны,
Меховой ковер и хор свечей.

Я лениво еле движу плектром.
Вдруг на пальце – чудо красоты —
Диамант, черкнув космическим спектром,
Принял вид давидовой звезды.

Яркий сноп кинжальных мелких радуг,
Пляска искр повсюду и везде;
Это знак – и мне других не надо:
Непреложно сретенье *судеб*.

Их зигзаги, петли и меандры
Вновь и вновь с тобой сведут меня.
Мы с тобой рождением саламандры,
Марс – наш демон, знак наш – знак огня.

Ни слезы и ни словес не тратя,
Прячу в шелк граненую звезду.
На заре, Венеры на закате,
Я в пустыню жуткую уйду.

Средь видений, хищников и гадов,
В одиночку, без воды и книг,
Я преодолею все преграды,
И сверкнет в оазисе родник.

Вечеру, Венеры на восходе,
Я найду тот самый бивуак,
Где, устав в пожизненном походе,
Овцы спят под мерный лай собак,

Пастырь бдит, поскольку пастырь добрый,
Волчий вой чуть слышится из тьмы,
А в сторонке, у костра из копры,
Ты, мой царь, слагающий псалмы.

Это будет, это так и будет:
Смех, и грусть, и счастье, а потом —
Мы дозорных, растолкав, разбудим,
И тропами разными пойдем.

Псалмопевец, знай: я тоже воин;
Цель путей у нас с тобой одна.
Ты силен, и ты всегда спокоен;
Но, однако, «дальше – тишина»...

Два воина

...Валькирия, любя христианина,
По доброй воле надевает крест;
Следит за колыханьем прядей длинных
И мокрый хлеб с кагором, хмурясь, ест.

Христианин, язычницу спасая,
В восторге хвалит плат, сменивший шлем.
Убор до пят смиренница босая
Носить должна без знаков и эмблем.

Шипящий щёлк церковного славянства,
Трещащий воск коричневой свечи,
Нестройный хор, тяжелое убранство
Священников – прими, терпи, влачи.

...Валькирия, гордясь безмерной жертвой
(Отдавший жизнь – не всё ли отдает?)
С любимым, чая смертного блаженства,
Из храма вон – на холм лесной идет.

О боже, как сияло в кронах солнце!
Как духовит шатер сосновый был!
Два воина, в объятьях ратоборцев
Схватившись, мяли моховой настил.

И пятна света и зеленой тени
Играли на телах, дразня, скользя;
И майский купол их в нагом томленьи
Венчал – о большем и мечтать нельзя...

...А через день, валькирию оставив,
сей христианский воин держит путь
в далекий монастырь суровых правил,
чтоб деву ту забыть когда-нибудь.

...А через год, с огромною свечою,
Во храме служит тот христианин.
...А через два – он под венцом с другою...
А дева – воин плачет в праздник именин.

А вот кошмар...

Монстр

Спят на постели услады
Съяты, не зная преграды,
Жизнь завязав в мандрагоре,
Странно – мистическом чаде,
Нетерпеливая радость
И нестерпимое горе.

Спит алхимический корень,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.